



Свящ. ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев)

Биографическая характеристика *

- I. Моя поездка в Переславль к А. С. Бухаревой. Впечатления Переславля. Анна Сергеевна. Беседы с нею. Современники и друзья Бухарева. Могила Бухарева. Размышления о Бухареве. Его связи с современностью.
- II. Семья Бухаревых. Впечатления детства. Способности. Первоначальное обучение. Семинария. Бухаревские товарищи в семинарии — М. В. <В. Ф.> Владиславлев (роман дружбы), Ловягин.
- III. Академия. Тогдашняя Академия. Монашество; побудительные к сему поводы. Влияние на Бухарева. София. Голубинский. Филарет-теоретик. М. В. Тихонравов (Тихомиров?).
- IV. Служебные и литературно-педагогические успехи. Характер преподавания. Сочинения того времени. Знакомства. Филарет. Антоний.
- V. Апокалипсис. Трения из-за него. Казань. Казанские знакомые. Перевод в СПб. Ученик казанский — Лаврский. Лебедев. Репловский.
- VI. Внутренний надлом. Попытки расстрижения. Переславль. Ростов. Суть дела — в стремлении расстричься.
- VII. Расстрижение. Женитьба. Родышевские. Судьба семейства. Знакомства. Внутренняя жизнь Анны Сергеевны.
- VIII. Литературная деятельность.
- IX. Смерть. Судьба сочинений и славы.
- X. Список библиографический.

* 7–11 листов размера «Богословского вестника» (На каждую главу приблизительно по листу печатному).

<ВВЕДЕНИЕ>

В октябре 1913 года мне наконец удалось посетить в некотором роде знаменитую Анну Сергеевну Бухареву, к которой я давно порывался, главным образом ради некоторых сведений об ее покойном муже, Александре Матвеевиче Бухареве, он же архимандрит Феодор. Не скажу, чтобы с легким сердцем решился я на эту поездку.

Предмет пререканий, не прекращающихся уже три четверти века, и камень бесчисленных преткновений, А. М. Бухарев всегда выталкивался из моего сознания по инстинктивному ощущению огромной ответственности, связанной как с принятием, так и с отвержением его. Но это давно промелькавшееся, но все не раскушенное имя, при каждом новом исследовании русской религиозно-философской мысли всегда оказывалось исходной точкой целых рядов и кругов мыслей, всегда проявляло себя как малоизвестный, но, однако, подлинно творческий первоисточник тех идей, которые мы привыкли считать своеобразными чертами именно русской философской мысли и которые волнуют наше время под притязательным и глубоко неосновательным названием «нового религиозного сознания». Занимавшемуся историей русской мысли, конечно, не могло остаться непримеченным, что, собственно, нашим в ней всегда была та совокупность сплетающихся и переплетающихся и многократно модулирующих друг друга вопросов из самых различных областей и самого различного направления, которые ныне объединяются под условным названием «нового», почему-то, «религиозного сознания» и суть которых лежит в отношении Мира и Бога, в том метафизическом узле, Бога и Мир связующем, который уже не есть Бог, но еще не есть и мир: «Ни тьма, ни свет, ни день, ни ночь». Да, русская мысль всегда упирается в первичную интуицию умопостигаемого места, ноуменального пред-мира, или Софии, пред-рассветной, еще бледно-изумрудно-лазурной святости, райской первоизданной святости твари, той святости, которая одна только и делает онтологически возможным освящение и спасение мира; а ведь к этому, к освящению и спасению мира, как к «общему делу», как к религиозному призванию, как к духовному собиранию мира, как к осуществлению подвига веры, сознает себя призванным всегда, во всех своих подъемах и падениях, русский народ, утвердив этот свой исторический лозунг символом Пресвятой Троицы чрез своего духовного родоначальника Преподобного Сергия, как ранее онтологическую предпосылку возможности этого дела утвердил другой родоначальник русского

самосознания, Кирилл Равноапостольный, символом Софии¹. От самого рождения русского народа проблема антроподицеи², проблема оправдания мира пред Богом, а для этого — освящение и преображение плоти Мира, всецело занимала русскую мысль, выражалась ли она в подвигах отшельников или в хлыстовских радениях, в самодержавной теократии или в социалистическом коммунизме. Но если и не ходить так далеко, то, во всяком случае, центром идеологических построений, отчетливо поставивших своею основою вопрос об освящении Мира и систематически разрабатывающих это основное задание русского духа, конечно, должно признать архимандрита Феодора Бухарева, признанного вождя и наставника нескольких поколений, его, однако, плохо понявших в главном, несмотря на чрезвычайно высокую оценку его личности и его идей, и непризнанного питателя и вдохновителя многих наших современников, хотя бы, например, Вл. Соловьева и Достоевского, чтобы не говорить о множестве других, имена которых нетрудно подставить здесь и самому читателю, — несмотря на свою непризнанность остающегося тем не менее истинным возбудителем современной мысли.

Вот этого-то мыслителя мне и не хотелось впустить до конца в свое сознание: я прекрасно понимал, что впустить его — это значит без бою принять, по существу, все то, о чем волновались и Соловьев с Достоевским, и Федоров, и, отчасти, Толстой, и Мережковский, и Розанов, и Булгаков, и Бердяев, и Эрн и т. д. и т. д., каждый на свой лад и каждый по своему, сравнительно малому, поводу, тогда как в Бухареве уже все подобные вопросы были заострены и сведены в первовопрос, к проблеме Христологической или, точнее, к проблеме Христокосмической, или, еще, к проблеме Христо-Софийной. Долго откладывалось прямое столкновение с тем живым воздухом, которым дышал покойный Бухарев, но, повторяю, исследование — помимо намерений — приводило все к Бухареву, с его полусознанным термином «София», а незримые, но крепкие нити судеб, опять-таки помимо воли, собирали в мои руки рукописное наследие самого Бухарева и материалы о нем. И вот наконец пришлось окунуться в атмосферу его жизни и личности.

Городок Переславль-Залесский был местом наибольшего обострения жизненной драмы Бухарева. Здесь он томился последние годы своего монашества, как здесь же страдала и его будущая жена; здесь выпало на их долю и счастье, и мука выпить чашу, полную унижения, бедности и лишений, а главное — невыносимого одиночества, одиночества даже среди самых близких и преданных друзей; здесь же <он> скончался³. Он любил

место своего заключения — Никитский монастырь, как и город своих страданий, и не расставался с ним последние годы своей жизни. Бесконечно грустная, но на всю последующую жизнь просветленная своим покойным мужем и наставником, Анна Сергеевна тоже осталась навсегда в этом городке: и она тоже не могла оторваться от места своих страданий и своего счастья. Но не только по личным причинам Переславль был привлекателен обоим Бухаревым. Его певучая красота, его почти неземная просветленность, его пленительные перекилки с родимым прошлым русской души — со смутною памятью Эллады, с образами княжеской Руси, непрерывно переливающимися в мечты о Китеже⁴, наконец, его затерянность, его оторванность ото всей современности, — не могли не приковать эту исключительную чету, для которой красота в духовности и духовность красоты были, мне думается, решающим жизненным началом. Переславль-Залесский мало известен, еще менее посещаем и должен быть причислен к тем местам всего мира, которые еще ждут своего открытия. Так и мне, хотя и приходилось слышать высокую оценку этого городка Владимирской губернии в сопоставлении с Ростовом Великим, однако я ехал туда только по своему делу, совершенно не предвидя того исключительного, навеки незабываемого, почти единственного в жизни впечатления, которое засветилось во всей душе при созерцании Переславля и которое бросило снопы света на проблему, меня не только занимавшую, но и тревожащую. Тут, и нигде более, тут только благородная и просветленная личность Бухарева не кажется мечтою, а осязается крепким и основным кряжем в строении русского духа.

Я приехал в город холодноватую осеннюю ночью и только утром, разбуженный благовестом колоколов, увидел Переславль. Небольшой детинец⁵ окружен сплошным кольцом храмов, и весь милый городок исстроен храмами всех веков русской истории, причем эта страсть к храмо<со>здательству, не угасшая и донныне, продолжает возводить новые церкви. Этот город — город не домов, не лавок, не учреждений, а храмов и храмов, почти только одних храмов. Я слышал, что, несмотря на обилие духовенства, здесь приходится на одного священника по несколько церквей. Озеро исключительной красоты, почти бездонной глубины, с водою исключительно чистою и то таинственно синее, то при малейшем ветерке или даже от облачка, застывшего солнце, мгновенно покрывающееся белыми барашками, за которыми идут и настоящие, весьма опасные бури, нельзя не ощущать как живое, зачатое и связанное неразрывными узами со святым Китежем, что на берегу его. И когда стоишь на берегу этого озера, то

нет сил отделаться от ощущения, что Переславль не захоластный провинциальный городок, а действительно град Китеж, выплывший из СВЕТЛОГО ЯРА ОЗЕРА и узренный неплотскими очами. Золотой дождь осенних листов осыпал все улицы, и отдельный лист, отрываясь от ветви, порхал и кружил, спускаясь; но не печаль и ропот навевал его лёта, а радостную покорность Благому Определению. Весь Переславль, глубоко-синий, белый и золотой, давал исступленную радость подчинения: Земля собирается в себя и вбирает в себя свое; и тяга к ней и тяжесть ощущаются не грузностью одевшейся плоти, но покорством родимому покою, сладостным успением в зовущих исконных недрах. Мне становилась понятною та последняя примиренность пред бедствиями и гибелью, которая так изумительно сочетается в Бухареве с требованием и ощущением творчества жизни; делалась бесконечно близкою его светлая примиренность с лишением всего, при его еще более бесконечно властным утверждением всей жизни. Ведь не радость о полноте жизни во всех ее проявлениях и не отказ беззавистный от всех же ее проявлений, лично для себя — сами по себе определяют мировоззрение Бухарева, его жизнь и его личность, нет, *совмещение* того и другого, чувство жизни и утверждение жизни, но не субъективно, не лично-корыстно, а онтологически, в Боге, *это* совмещение дает Бухареву сверхличное отношение к бытию, бесстрастную, воистину человеческую и потому воистину твердую привязанность к бытию в его целом. Все принять и ничего не упустить, но все принять в воплотившемся Слове, т. е. как внутренне просветленное и одухотворенное и потому до конца жизненно-плотное, во плоти открывающееся, — такова основная мысль всего его мировоззрения и таково то основное настроение, которое воспитано было сначала подвигом горячего аскетизма, затем подвигом всеобъемлющей любви и, наконец, последним жизненным подвигом сознательно взятого на себя позора, одиночества и бедности, в которых А. М. Бухарев усматривал свое соучастие в страстях Христовых, то соучастие человеческих единиц, которым, по его мысли, продолжается и укрепляется искупительный подвиг Богочеловека. Только сквозь дыхание этой подвижнической жизни, всегда подвижнической, с самого детства, как увидим, избравшей себе путь подвига и никогда, ни в один момент своей жизни, не устремлявшейся стихийно по путям субъективности, только чрез это подвижническое делание понятно, почему Бухарев решился с настойчивостью беспримерною, с убежденностью непоколебимою и не поколебленною ни разу никем и ничем, утвердить ценность, должность и святость мира, плоти, всячес-

кой конкретности, всего того, отвержение чего составляет, как кажется поверхностному наблюдателю, смешивающему временные средства с вечными целями, душу христианского аскетизма.

В просветленной личности опального и расстриженного архимандрита уже давно отстоялась та муть плотских желаний, то субъективное и корыстное вожеление, которое людям, не знающим подвига, туманит чистые контуры ноуменальных основ мира и раздваивает совесть между скучным полупризнанием и тоскливым полуотрицанием бытия, людей же, вовлеченных в водоворот страстей, вполне лишает ноуменального зрения и их, мирскими пристрастиями растворившихся в чистой субъективности, вынуждает признавать только правду мироотрицания, отрицания того мира, существование которого они даже не подозревают, ибо их духовное око созерцает лишь собственное их пристрастие к мирским похотям. Напротив, Бухарев созерцал мир чистым оком и, оторвав от себя корыстную жажду жизни, остановив воспаленное кружение колеса бывания, угасив в себе стихийную безмерность хотения, сумел увидеть мир сверхличным, разумным, по терминологии древней, бескорыстным любованием как первожданную красоту Отца Небесного, Предвечного Художника, как отражение Небесного Иерусалима, как самый Иерусалим Небесный, но нуждающийся в убелении кровью⁶. Очищенным оком Бухарев увидел в мироздании предвечную Невесту Божию⁷, а в человеке — образ Божий, и, увидев, он не мог не утвердить этого своего зрения во всем его объеме. Дольнее уподобляется горнему, в земном запечатлеваются божественные первообразы; это, в его устах, не рациональная схема и даже не вывод из некоторых созерцаний духовного опыта. Нет, как бы контурами своими подобные утверждения ни совпадали с аналогичными утверждениями теоретика, внутренний смысл их в устах Бухарева был совсем иной, ибо он только описывал, и часто языком далеко не выразительным, то, что он действительно видел. Это видел он не периферически, в каждом отдельном случае, а в том центре мироздания, где мир сведен к своему безусловному единству, там, где горнее открывается не отдельными своими лучами, но где дольнее все и насквозь, всецело очищенное и взятое горé, — все и насквозь есть явление горнего: в Агнце Божиим, предвечной жертве за грех мира, Бухарев увидел всю полноту ноуменальных, Божественных основ мира и его жизни. И потому, когда он неустанно и, на поверхностный взгляд, слишком однообразно в каждом своем сочинении, в каждом письме, в каждой лекции и даже в частной беседе настаивал на преобразовании всей жизни по духу Христову, на делании каждого

дела, каким бы малым и незначительным оно ни казалось, в виду Христа и по Христу, то этот его вполне последовательный и не допускающий ни малейшего отступления Христоцентризм отнюдь не был богословской схемой, кстати сказать, слишком дешевой, чтобы стоило писать для нее целые книги, ни моралистической проповедью, которая Бухареву была чужда более, чем кому-либо, при его борьбе с законничеством, при его глубокой и принципиальной вражде ко всякому моральному законничеству, ни тем более теорией чувственно-мистического характера, о подражании, «имитации» Христу во внешних сторонах Его жизни, но — выражением самой сути духовного опыта, утверждением не юридически-канонического, не моралистического, не мистико-психологического характера, а метафизического, истиною ноуменального характера: если во Христе Бухарев воистину видел всю полноту конкретной жизни, всю полноту космичности и человечности, если он видел, что только в Нем, в Сыне Божиим, содержится полнота бытия и что Он есть вечный источник бытия, а вне Его или не так, как в Нем, бытие призрачно, то что же мог он говорить, как не о созерцании и делании по Христу и во Христе. События евангельской истории для него не могли быть ни просто историческими событиями той или другой важности, ни примерами подражания, — не могли быть чем-то единичным, но открылись как вечные типы, однако не схематически, а как жизненно-конкретно явленные реальности мира горнего. Если мы говорим, что художественное произведение являет нам идею, то это значит, что мы увидели в нем более, чем простую единичность, нечто, хотя бы и ограниченное, однако вселенского значения, бытие, сущее не в себе только, но и <как> некоторый центр других бытий их освещающее и метафизически их предвещающее. Иными словами, художественное произведение есть символ, есть первоявление. Именно вот это, художественную типичность, символичность, сверхъединичность, увидел Бухарев в событиях евангельской истории. Сказано «это», но, конечно, не «это», а только имеющее аналогию в художественном символе: ведь в событиях евангельской истории Бухарев увидел такие мировые всеобщности, такие символы трансфинитно большего характера, нежели символы художественные, такую сгущенность бытия, пред реальностью которых художественное творчество — лишь тень и подобие. В конкретной, исторически явленной жизни Сына Божия Бухарев сумел увидеть воистину метафизический первоузел не только человеческой истории, но и бытия космического.

Платоновский горний мир, умное место идей и первообразов сущего оказался Словом жизни, которое видели очи наши, очи созданных из одной крови с нами, которое осязали руки наши, — руки отцов, братьев человеческих; собрание прототипов сущего открылось уже не одному только полету оперенного и углубленного разума, но в его художественной, сверххудожественной, больше, чем только художественной полноте и бытийственной плотности: метафизика перестала быть мета-физикой и стала просто физикой, историей, но для очищенного зрения. И солнце мира умного, причина и разума и бытия, причина смысла, являющегося как жизнь, и жизни, ощущаемой как смысл, оказалось то самое Солнце разума, тот источник умного, Фаворского, света, которое в зимний солнцеворот родилось в Вифлееме. Жизнь Христова была постигнута Бухаревым как искусство, метафизически совершенное, сам же Христос — как Пренебесный Художник. И потому «жить так, чтобы в каждом проявлении жизни сообразоваться с Духом Христовым», — в устах Бухарева есть отнюдь не наставление, а выражение той онтологической истины, что вне Христа, без Христа, помимо Христа, не сообразно с Ним, без Его благодатной, т. е. бытийственно укрепляющей и осуществляющей, в смысле энтелехии⁸, благодатной помощи вообще невозможна никакая жизнь, никакое проявление жизни, никакая деятельность, никакое творчество, в сфере ли религиозной, художественной, философской, позитивно-научной, общественной, государственной, семейной, экономической, — вообще какой угодно, какая бы ни открылась еще, — не в том смысле, что плоха, нравственно предосудительна, канонически недолжна жизнь без Христа в какой бы то ни было области, а в том, повторяю, метафизическом смысле, что таковая просто невозможна, что она, поскольку она действительно вне Христа, действительно метафизически несовершенна, бытийственно не полна, а если бы была совсем вне Христа, то просто не была бы. В Бухареве живет глубочайшее убеждение, что все живое в мире и культуре, все воистину сильное, хотя бы оно казалось самостоятельным, вне-Христовым и даже если оно в собственном своем сознании направлено против Христа и Тела Его — Церкви, на самом деле существенно Христово, существенно церковно, существенно истинно, ибо питается и существует не иначе как силами Христа же; а если оно христороственно, то это происходит, во-первых, от недопонимания им собственной своей природы, а во-вторых, от частичности, от ущербности в понимании Христова Духа людьми, ко Христу устремленными и в Церкви живущими, но светом Его не вполне просветленными, с очами, зату-

маненными мирским пристрастием. Христос есть истина, путь и жизнь; это не только догмат вероисповедания, но прежде всего первоначало мироздания. А если так, то для Бухарева возникают сразу два важнейшей значимости последствия: во-первых, рассыпаются прахом все притязания на автономию в какой бы то ни было сфере жизни и даже природы — без Христа не может быть не только государственности и т. п., но даже химии и геологии; а во-вторых, с такою же стремительностью опрокидывается Бухаревым всякое искушение, хотя бы и во имя Христово, на духовное насилие, ибо всякая свобода, как духовное самоопределение, от Христа и во Христе, Христос действует не только, не столько, даже совсем не периферически, чрез внешние заповеди, как то полагают в неразумной поспешности ревнители благочестия, а Своими благодатно бытийственными, так сказать, органическими путями, разумение которых доступно не богословскому схематизму ревнующих о вере, а духовно просветленному, благодатному взору, и посему иной противник Христа может быть в бытии своем гораздо ближе к Нему, нежели рьяный, но не духовный ревнитель Церкви. Нетрудно догадаться, в какую бездну вражды со стороны людей церковных и какое бесконечное одиночество и непонимание в среде людей нецерковных ввергало Бухарева это двойное, антиномически сопряженное следствие его Христоцентризма. То, что духовному его взору предстояло полным единством, неразрывною цельностью, единым светом, в глазах недуховных двоилось, раскалывалось, разлагалось в самопротиворечии. И тогда как поклонники его, так и враги, одни словно стараясь превзойти других, брали одну из сторон его антиномии и уничтожали другую, а для украшения ли Бухарева и в похвалу ли ему это делалось или в осуждение и ради попрека, не все ли равно по существу. Бухарев говорил о церковности всего подлинного; но тогда, заключали одни, обращая его суждения, все нецерковное — не подлинно, а как неподлинное должно быть уничтожено. Так, основываясь на Бухареве, выросло новое законничество в его истолковании, причем для одних это было неожиданно открытое достоинство его мировоззрения, а для других — наконец-то избалованный благочестивый обман спрятавшегося законника. Другие, напротив, исходили из бухаревского антитезиса о Христовой свободе. Если всякая свобода, если творчество не может быть иначе как во Христе, то, следовательно, Христос есть только постоянный эпитет творчества как такового, оно же тем самым оказывается автономным, и, следовательно, Церковь, а с нею — и все конкретное о Христе — ни к чему. Другими словами, как для сторонников,

так и для врагов Бухарева на этом пути выяснялось, что Бухарев есть просто светский мыслитель-позитивист, пытающийся благовидно выскочить из ограда церковной. И когда, учитывая эту двоякую, и притом как от друзей, так и от врагов, опасность своему делу, делу своей жизни, Бухарев со всею настойчивостью стал отмечать как свой тезис, так и антитезис, то около него, уже при жизни, стала разверзаться пропасть духовного одиночества; а наиболее тяжелым было закрытие пред ним возможностей обнародовать свои произведения, то отчасти юридическое, а в гораздо большей степени фактическое лишение свободы печатного слова, соблюсти которую было для него когда-то ближайшим поводом к ломке всей жизни. Попросту говоря, А. М. Бухареву одновременно стали отказывать в помещении его работ редакторы как прогрессивно-антицерковных, так и консервативно-церковных печатных органов; а затем он лишился и издателей, так что, не имея никаких средств и живя непрерывным чудом, он окончательно был вынужден на молчание.

Всем известна история его расстрижения; известна также последовавшая затем его женитьба на Анне Сергеевне Родышевской, дочери переславского предводителя дворянства. В этой женитьбе иные видели романтический случай на тему о предводительской дочке, соблазвившей ученого архимандрита и сбегавшей с ним из отчего дома; другие истолковывали эту женитьбу как выступление против идеи христианского аскетизма и борьбу против принципов монашества, делая из Бухарева, по его собственным словам, маленького «лютерика» и рассчитывая, что за Бухаревым пронесется в среде русского монашества поветрие расстрижений и женитьб. Сейчас неуместно опровергать пошлость как того, так и другого суждения о Бухареве, это будет сделано на своем месте. Но сейчас, в порядке тех мыслей, которые складывались во мне в это памятное посещение Переславля, кажется нужным отметить недостаточность обсуждений женитьбы Бухарева, имея в виду его одного, а не наряду с ним и Анны Сергеевны. Бухарев, несмотря на множество друзей, был бесконечно одинок. Вполне близким человеком ему была только его жена. Но что должны думать мы о ней, еще девочке или почти девочке, одинокой провинциалке, не только решившейся на опалу сурового отца и на скандальный мезальянс, но и действительно сумевшей понять и оценить опального, бесправного, нищего и полуумирающего от чахотки, расстриженного архимандрита, жизненное дело которого оказалось не под силу, кажется, ни одному из современников. Кто была она, почти воспетая Александром Матвеевичем в толковании на «Песнь песней»⁹

и сумевшая удовлетворить, во всяком случае не оскорбить и не нарушить бесконечно высоких представлений своего мужа о бесконечной ответственности и бесконечной ценности брака. А главное, кто была она, сама сумевшая удовлетвориться таким, на взгляд едва ли не всякой женщины, несчастнейшим браком, жребием, хуже которого трудно придумать, и настолько просветленная и одухотворенная им, что потом, как величайшую святыню своей жизни, она хранила и хранит память о немногих годах своего брака с умирающим, всеми отвергнутым и не понятным супругом. Повторяю, слишком мало задавались вопросом о личности Анны Сергеевны, сумевшей получить в браке только его онтологическую сущность — и никаких эмпирических, не то что радостей, но даже и просто сносностей жизни. Эти мысли во мне возникали отчасти до посещения Анны Сергеевны, отчасти во время самого посещения, и если я задним числом излагаю их вместе, то это для того, чтобы были более понятными те немногие впечатления, которые я изложу от личности Анны Сергеевны.

Среди бесчисленных церквей города Переславля есть одна, на отлете расположенная, имени Святого Иоанна Златоуста. Это приход семьи Родышевских, в ней венчался Александр Матвеевич, в ней был таинственный случай явления храмового святого благоговеяному причетнику во образе Александра Матвеевича, в ней же этот последний был отпет пред тем, как покорно и радостно сойти в земную утробу. Невдалеке от этой церкви на берегу синего озера стоит небольшой двухэтажный дом, уже по смерти мужа доставшийся в наследство от дяди вместе с некоторыми средствами Анне Сергеевне. Пройдя по ликующим золотым убранством улицам города, я без труда отыскал жилище Анны Сергеевны. Пожилая прислуга, на лице и в голосе которой нетрудно было прочесть навеки укрепившуюся преданность хозяйке и душевную с ней близость, привела меня в верхний этаж.

Несколько пустоватая, большая и светлая, но монашески сдержанная гостиная с первого же не то взгляда, не то дыхания, дала впечатление необыкновенной чистоты, светлой ясности и, если это можно сказать о комнате, девичьей, девственной гибкости и свежести. Хозяйку пришлось подождать: характерная особенность — она и в... лет, в провинциальном городке сумела не распуститься. Через четверть часа она оделась, как считала нужным. Ее фигура, высокая и чрезвычайно гибкая, была полна кровной аристократичности, которую не победили ни условия жизни, ни одиночество, ни годы. Но в этом родовом аристократизме проступало нечто другое, чисто личное: не подберу более

подходящего слова, как девичество. Но говоря это слово, я боюсь, как бы оно не было понято, в сопоставлении с возрастом, в смысле совсем неправильном; Анна Сергеевна своей фигурой давала впечатление молодости, свежести, если бы судить не по внешнему ее виду, забыть о годах, о ее замужестве и бедной, на Пасху отошедшей, годовалой дочери ее Сашеньке, то хотелось бы определить ее возраст, как семнадцати-восемнадцатилетний¹⁰. И странно, что ее внутреннее достоинство, ее черное платье и вид ее лица, сперва отталкивающий, ибо все оно заросло довольно густой бородою, хотя и делали в первый момент толчок в сторону от мыслей о юной девственности, однако очень скоро входили в какую-то совокупность общего впечатления и укладывались на своем месте. От Анны Сергеевны мысль неизбежно сновала к Александру Матвеевичу и от него снова к ней: она поверяла их друг другом как редких, если не единственных носителей заданий не просто жениться, хотя бы и с самыми чистыми намерениями, но войти в христианское, таинственно отображающее апокалипсический брак Агнца с Церковью, мистическое супружество. И было бесспорно, непосредственно ясно, что девическая свежесть Анны Сергеевны есть именно луч благодатного брака, усвоенной благодати брака. Потом, когда мне стала известной вся жизнь Анны Сергеевны, ее бурление и неудовлетворенность до знакомства с будущим супругом, это непосредственное зрение стало и доказанным. Виделось же, с полной очевидностью, что Анна Сергеевна в своей краткой и внешне бедственной жизни, совместной с Александром Матвеевичем, нашла полное себе удовлетворение и что брак ее не был временным состоянием, эпизодом в ее биографии, но длится и по смерти супруга и будет длиться всегда, ибо есть приобретение навеки. Наш разговор, конечно, был около Александра Матвеевича; но уже вскоре после начала его Анна Сергеевна, отвечая на один из моих вопросов, заметила скромно, но с достоинством: «Так об этом думаю я, но в этом отношении наши воззрения с Александром Матвеевичем всегда расходились и он высказался бы пред Вами именно так, как думаете Вы». Эта свобода мысли, которую я впоследствии не раз отмечал себе в Анне Сергеевне, была для меня вторым существенным впечатлением, полученным от Бухарева чрез его жену. При горячей, неизменной и все возрастающей преданности и любви к самому Александру Матвеевичу и к его жизненному делу, а с другой стороны, при огромной авторитетности для нее ученого и глубокомысленного мужа, Анна Сергеевна не была раздавлена его сильной личностью, но относилась к ней свободно, в самой разногласии сохраняя любовь и

уважение. Нужно было действительно любить в человеке его свободу и чтить в нем образ Божий, чтобы своею ревностью об истине не испепелить и не раздавить умственной свободы такой слабой, сравнительно с силой его ума, Анны Сергеевны. Всякому другому, меньшего духовного калибра, чем был архимандрит Феодор, не удалось бы преодолеть искушения пойти путем легчайшим и с виду наиболее гладким ценою измены проповедуемому веянию Христовой свободы: как легко было бы во имя единства истины, которую больше всего на свете любил Бухарев и ради которой ни одна жертва не казалась ему слишком дорогой, раздавить умственную самостоятельность преданной ему девочки, нравственно подавить ее, доставив ей даже не страдания, а, может быть, даже сладость. А со стороны Анны Сергеевны — сколь воспитанной в ней должна была быть духовная свобода, если ни беспредельная преданность личности и идее покойного мужа, ни долгие, долгие годы, полные затворничества в атмосфере его мыслей и воспоминаний о нем, не ассимилировали ее в внешней форме и букве бухаревского учения, но сохранили свободный на него взгляд. Эта, думалось мне, эта действительно усвоила жизнепонимание своего мужа: архимандрит Феодор этой ученицей и, может быть, только этой, к сожалению, — конечно, доволен.

Анна Сергеевна рассказывала: ее рассказы были полны самыми неожиданными случаями из жизни Александра Матвеевича и теснившихся к нему знакомых; ее меткие характеристики, своеобразные сопоставления, живые, полные жизни воспоминания переносили в сороковые годы. Что-то давно, давно ушедшее, кружки и имена, известные нам лишь литературно и исторически, то и дело мелькали в ее разговоре. Эта атмосфера далекого прошлого, запах ушедших людей и отношений, провевался незримым, однако всегда господствующим благоуханием личности Александра Матвеевича. Тонкое его благородство и чистота, в которой нельзя отыскать ничего пошлого, не говоря о лукавом или низком, выступало в моем сознании все выпуклее. И опять естественное ожидание увидеть в мысленном складе Анны Сергеевны любопытную окаменелость времени полноты ее внутренней жизни, оказывалось до основания разрушенным. Анна Сергеевна сохранила живость и гибкость ума, восприимчивость умственную настолько, как этого нельзя было бы ждать и от женщины средних лет. Дорогое ее прошлое не застыло в ней недвижимым воспоминанием, но продолжало освежать ее ум и питать ее душу: Александр Матвеевич, раскрывший ей ее самое, продолжал быть с нею, продолжал вдохновлять ее. Анна Серге-

евна следила, как редко это может быть в провинции, за современной литературой, интересовалась философскою мыслью, считалась с духовными течениями и внутренне входила в них, при том всегда сохраняя самостоятельность: Александр Матвеевич научил ее жить полнотою внутренней жизни, именно жить научил, а не каким-либо отвлеченным мыслям, и Анна Сергеевна зажила, живет и, можно быть уверенным, будет жить до могилы. Те легкость, бодрость и, скажу определеннее — благодатный дух, которые чувствовались мне в комнатах Анны Сергеевны — мне было ясно, — исходили от Александра Матвеевича. Можно разное думать о нем по его книгам, по крайней мере возможны перетолкования их. Но жизненная проба, проба самой жизни Бухарева в лице его жены, дала определенный ответ, после которого уже невозможно было сомнение, но тем не менее я не позволил себе давать окончательного ответа, как должно относиться к покойному архимандриту Бухареву, прежде чем я не сделал последнего испытания, различения духов его могилы.

К Никитскому монастырю, возле которого на кладбище — могила Бухарева, опять пришлось идти сквозь весь город. И опять те же певучие, не то тоскливые, не то иступленно-радостные впечатления священного города, опять то же пышное золото, заливающее улицы, то же кольцо храмов вокруг детинца, главное же — неисследимо глубокая синева чудного озера, не принимающего в себя, как гласит живое предание, ничего нечистого и извергающего все брошенное в него на свои берега. Мысль о смерти сама собою возникает в этом осколке русского средневековья, ибо реет над озером и над всем городом, но не та унылая и неприязненная мысль о смерти, которая незваной гостьей вторгается обычно в жизнь, отравляя сладость пира, а сладостная, покорная и торжествующая «память смертная», без которой самая жизнь пошлеет и разлагается. На берегу озера углублялось это чувство смерти как близости и прочности иных берегов, с которых только и зрится этот берег прекрасным, благостным и приемлемым. «Иного бытия начало», питавшее в Бухареве и его вкус к жизни, и его бескорыстность в самом этом вкусе, здесь ощущалось с особенной ясностью, и снова становилось глубоко понятным, что, конечно, Бухарев не мог бы быть представленным в годы своего последнего подвига среди иного воздуха, в общении с гениями других мест, и это чувство сплеталось и перетекало в чувство крови, в чувство священности крови и мистичности жертвы, в чувство искупления и радости искупления, которым существовал Бухарев и в мысли своей, и в жизни. Если бы мы стали искать первичную интуицию этого апокалиптики,

этого проповедника радости, этого провозвестника полноты жизни, этого защитника прав в творении Божиим, то разве нашли бы мы слово более выразительное, чем любимый его образ Агнчей Крови — Крови Агнца Божьего, вземлющего на себя грех мира, — Крови Агнца Божьего, закланного прежде сложения мира. «Невеста и Агнец говорят: прииди»¹¹. Нет ничего более характерного для бухаревской мысли и для его личности, как это соединение «печали и радости», потоков искупляющей крови и ликования брачного пира, признания жизни в ее полноте и — подвига отречения. И как нельзя более это сочетание мысли и чувств соответствовало тому времени, когда пришлось навесить мне могилу полуизвестного мыслителя. Всемирная война только разгоралась¹². По точному слову Господа, народ восставал на народ и Царство на Царство, но бодрость и вера в Святую Русь и подъем живительною струею тогда текли от сердца к сердцу. Сладостно звучали в душе трагические хоры закалаемых народов, и зрелось воочию, как мать-земля, алкаючи по крови сынов своих, и как тысячами уст она, изжаждавшись, впивает родимую кровь. И зрелось воочию, как она убеляется кровию и, убеляясь, одухотворяется, проявляя «Невесту, скрываемую ныне землею»¹³. Такою именно белою <так!>, убеленною подвигом до кровей, кровей мученических, открылось сердцу земное ложе Бухарева. Это не была могила, «черная могила», как трудно не выразиться о большинстве мест последнего пристанища. Ничего мрачного, ничего от призрачных теней Аида и от темной пелены смерти. Благостно и сладостно встречал посетителя Александр Матвеевич, глубочайшим миром и тихую полновесною радостью окутывая душу, с такою нежностью, с такою предупредительностью, с таким внутренним тактом выходя к нему навстречу, что призрачным суемыслием развеивались все возникавшие сомнения. На этом месте не было духов беспокойства, духов нечистых, напротив — одни только духи мирные, духи чистые и ясные, главное же, духи какого-то тончайшего проникновения в лицо посетителя, духи благожелательства и теплой открытости проникали его. Я огляделся кругом: позади стояла старая кладбищенская церковь, а прямо передо мною, спускаясь обрывом, синела далеко уходящая поверхность Переславского озера, окруженная высокими крутыми берегами, на одном из которых находился я. Оно имело в себе красоту, почему-то, античности. Забывалась современность, забывалась западноевропейская цивилизация, трескотня, шум и грохот машин. В голову не приходило новое мировоззрение, умертвившее природу, рассекшее человека и изгнавшее Бога. Мне казалось, что я в каком-то далеком

предсуществовании стою на берегу морского залива в архаической Греции. Отблески первозданной красоты эдемской еще не угасли на лице природы, и еще золотится вся тварь первоначальным дыханием Божиим, и городок Переславль, спускающийся к озеру хороводом белых церквей, в уютном прорыве крутых берегов, казался отсюда, из этой точки достигнутого мира, мечтаемым Китежем Святой Руси, омытым и явленным подвигом одинокого страдальца, гением места сходил к этому своему любимому образу Бухарев.

«В переходные, особенно, времена бывает обыкновенно так, как в наши летние ночи: обе зари, утренняя и вечерняя, сходятся — и как ни великолепна бывает вечерняя, но она — отходящее время, и как ни бледна занимающаяся заря утренняя, но она — начало нового дня; ждущие солнца устремляют взоры свои, особенно, на утреннюю зарю, хотя и не закрывают глаз и от великолепия потухающей более и более зари вечерней». Так говорит сам Бухарев о филаретовском времени, т. е. о времени собственной своей жизни, имея в виду разграничить в нем, и в частности в деятельности митрополита Московского, эти две стороны — зарю вечернюю и зарю утреннюю. Но все современное его мировоззрение, как в значительной мере и мировоззрение нашей современности, есть время угасающее, угасающего мысленного и жизненного строя души Ренессанса. Заря же нового Средневековья зажглась впервые и зажжется еще, и тогда вспомнят о кресте на крутом берегу Переславского озера.

1919 г. VII. 29.

ГЛАВА I

1. Происхождение. Александр Матвеевич Бухарев родился в селе Федоровском Корчевского уезда Тверской губернии. Дата его рождения сообщается двойственно: по официальным данным, обыкновенно приводимым биографами, это было... 1822 <1824?> года, метрические же книги определяют время его рождения 20-м числом июля 1822 года. Последнему сообщению, как написанному собственноручно отцом новорожденного, состоявшим в причте местной церкви, следует предпочесть. По календарной же символике день пророка Илии, горящего ревностью грозовою о правде и получающего Богоявление «в глазе хлада тонка»¹⁴, пророка, наиболее обостренно показывающего столкновение закона и благодати, в высшей степени соответствует духу

Александра Матвеевича: ведь для него антиномия закона и благодати непрерывною нитью проходит через всю жизнь, определяя собою и томление его духа в ревновании закона, и мир в обретенной благодати Христовой. Имя ему было наречено в честь святого благоверного великого князя Александра Невского, и день своего Ангела он праздновал на перенесение мощей этого святого 30 августа.

Происходил же он из крайне бедной семьи сельского диакона, по особенностям своего характера не умевшего и не хотевшего добиться хотя бы той малой зажиточности, которая могла бы быть при его сане. Однако, прежде чем говорить о сложении семьи Бухаревых, в лицах представлявшей неразрывно-сопряженную и неслиянно-неразрывную антиномию благодати и закона, мы может подметить нечто в строении самого рода Бухаревых, с большею силою выразившееся в своем цветке и исторической цели — Александре Матвеевиче. В самом деле, бедная и малокультурная, в смысле внешнего лоска, семья сельского диакона, да притом первой четверти XIX века, когда еще были не тронуты устои духовного сословия и быт духовный был замкнутым целым, затем годы учения низшего, среднего и высшего в духовной школе, тогда еще — настоящей бурсе, далее преподавательская деятельность и административное положение опять-таки в духовной школе, можно сказать, сплошь — и в верхах, и в товариществе, и в низах — состоявшей из одних только детей духовенства, — вся эта совокупность однообразных воздействий среды определенной сословности должна была напечатлеть во впечатлительной личности Бухарева очень определенный сословный облик. Ведь как бы ни была индивидуальна творческая мысль, с формальной стороны она неизбежно облекается в одежды, свойственные сословию и среде; можно быть подвижником или преступником, но манеры и способ держать себя менее всего зависят от свободной воли, определяясь биологически и социально. Между тем взглядывавшемуся в сочинения Бухарева не могло остаться незамеченным, что в них, кроме языка, в самом внешнем смысле слова нет ничего специфически сословного, но и язык Бухарева, лишь только автор сбрасывает или позволяет себе сбросить принятую им, и притом принятую, как увидим, сознательно, ради дела условность, оказывается выпавшим из сословности, из быта.

В еще большей степени эта внесословность Бухарева сказывается в ритме его мысли, в приемах мысленного подхода к обсуждаемым предметам. Но что наиболее поразительно — так это его выхождение из быта окружающей его среды всем обли-

ком своей личности. Представители светского, и притом наиболее культурного, общества, с которым соприкасался Бухарев в последней части своей жизни, неоднократно выражали свое удивление по поводу способа обращения, склада речи и манер расстриженного архимандрита, который входил в это общество так, как если бы принадлежал к нему по рождению. В своем «беспристрастном и даже бесстрастном» повествовании о начале своей жизни Александр Матвеевич сам с некоторым недоумением останавливается на этой стороне своей личности. «Он не принадлежит, — говорит о себе Бухарев в третьем лице, — к тем типам из духовного звания, какие известны нам из литературы и, отчасти, из самой жизни. Он не мог, не умел, да и не хотел ладить с привычным складом жизни и мысли духовной; ни с чем мертвороутинным он как-то не уживался и не мирился, хотя всегда был самым миролюбивым человеком. Но он не имел ничего общего с теми, которые хотели бы сбросить с себя, как тяжелое ненавистное бремя, все, что сколько-нибудь отзывается прирожденным для них духовным. Напротив, для моего “героя” было навсегда неприкосновенною святынею живое существо духовного звания. Он немало работал в жизни, был стоек в образе мыслей и правил, но нимало не походил на тех дельцов из духовного звания, которые своею стойкостью в работах и стремлениях своих умели прокладывать себе выгоднейшую карьеру и крепко усаживались наконец на очень почтенных и тепленьких местах. Напротив, “мой герой” всегда был образцом житейской непрактичности, так что об нем знакомые его обыкновенно отзывались: “Это только он один мог так повредить своей карьере, только он один мог поступить так наивно-нерасчетливо”. Вообще, по своему духу и развитию мой “герой” составляет нечто особенное в своем роде — особенное, можно бы сказать, чуть-чуть не до уродливости... Изучая моего “героя”, я действительно старался отыскать ключ к разрешению тех странных его особенностей, что, например, одни и те же обстоятельства и предметы, которые располагали и вели его товарищей к тому или другому, его направляли и приводили к совсем иным, противоположным этому, тому или другому результату, что в нем, природном кутейнике, внимательный наблюдатель всегда находил меньше известного духа кутеизма, чем и в таком его товарище, который в духовное звание и образование привзошел отвне».

Отчасти ответ на вопрос о «семенах слишком своеобразного его развития», пользуясь выражением самого Бухарева, может быть дан столь же простой, сколь и углубленно-трудной ссылкой на факт одухотворенности Бухарева: благодать живет не только

в тайниках сердца, зримая только благодетельствованному, но и, переливаясь оттуда, как из переполненного сосуда, проникает и осветляет все существо, подымая его над условиями рождения и общественной среды; благодать — двигатель не только сокровенных внутренних волнений, но и фактор культуры и природы; и, в известном смысле, о всяком, Духом водимом избраннике, можно говорить как о поднятом над бытом и средою. В этом смысле недоумение Бухарева есть свидетельство его смиренномудрия. Но, принимая во внимание особенность бухаревской личности на всем протяжении его жизни, а не только при высшем уровне его духовного достижения, мы все же должны поставить себе его вопрос. Сживаясь же с его образом, не можешь не замечать многосложности, многослойности его душевной фактуры: кроме духовности, в Бухарева явно усматриваются исторические напластования, культурные отложения, которые заставляют задуматься о прошлом его рода. Слоистый агат не есть ли осевшее время, и последовательность наслоений его не являет ли нам застывшего ритма годов и десятилетий? И в слоистости родовой сущности не бьется ли пульс древних культур, неожиданно процветая в лучшем достижении рода? Так, средневековая переливчатость бухаревской родовой сущности, извилистыми ходами пройдя под корою сословности и пылью суетливой жизни нового времени, неожиданно открылась отчасти уже в диаконе Матвее Лукиче Бухарева, отце Александра Матвеевича, сполна же — в нем самом и в сестре его Екатерине Матвеевне, которую Александр Матвеевич всегда ценил гораздо выше себя.

Но этот вывод о сущности бухаревского рода или, точнее, такое ощущение этого рода нуждается и в исторически проверяемой постановке, чтобы тем сделаться не только более доказательным, но и приобрести историческую, так сказать, плотность. Я не могу сказать, чтобы было в этом отношении сделано все, что мне представляется необходимым и доступным, но ключ к загадочному явлению Бухаревых дает нам сам Александр Матвеевич. «Нет ли у него основания этой особенности, — говорит он о себе, — в самой крови, думал я, разыскивая родословную моего “героя” по рассказам его отца, дяди или деда? Конечно, не много мог я открыть по этой части, но кое-что все-таки открыл. По матери мой “герой” был рода духовного, можно сказать испокон века, так что его дед, прадед и прапрадед были, один за другим, священниками в одном известном селе, но по отцу род моего “героя” упал и до крепостного состояния, хотя исходил из старинного дворянства. Это было, кажется, в бироновщину, рассказывал мне дядя моего “героя”, по крайней мере еще до

указа Петра III о вольности дворянства вступать или не вступать в государственную службу. У нашего предка, одного из старинных и захолустных помещиков, было несколько взрослых сыновей, которым он не дал никакого образования; таких недорослей брали в военную службу наряду с мужиками, — брали всех, кто не успевал куда-либо скрыться навсегда. Спасаясь от этой грозы, один из неучей, сыновей помещика, хотя и был сам природным дворянином, закабалил себя в крепостные другого дворянина. В крепостном состоянии завелся он хозяйством и семейством, женою из крепостных; умея кое-как писать и читать, он мог служить закрепостившему его барину чем-то вроде земского писца. Случилось умереть в том приходе старику-священнику. Барин, не желая ли иметь своего брата-дворянина в своих крепостных или желая иметь у себя и священника — собственного крепостного, представил своего писца архиерею для посвящения в иерея».

Это важное родословное сообщение Бухарев делает ровно за шесть месяцев до своей кончины; биографически ценное и само по себе, оно делается нам неизмеримо более значащим, если мы обратим внимание, что сообщение это не есть только внешняя установка голого исторического факта, но выражает родовое самочувствие, и притом углубленного в себя мыслителя на вершине его внутренней опытности и при обстоятельствах, дающих даже всякому особую остроту самопознания. Если бы даже дальнейшие генеалогические разведки доказали некоторую неточность семейного предания Бухаревых, то и тогда сообщаемое Александром Матвеевичем в большей своей части удержало бы свою значимость: оно есть символ самопознания, символ глубокого самоисследования Александра Матвеевича, в этом символе он нашел те конкретные образы, которыми наиболее соответственно выразилось то, что понял он в самом себе. Он придавал историческому преданию своего рода особое значение; иначе он не поместил бы его в свою предсмертную автобиографию, предназначенную только для любимой Анны Сергеевны и лишь благодаря счастливой для нас, но тем не менее неделикатности М. П. Погодина попавшую в печать. И далее Бухарев поясняет, в каком смысле эти тени прошлого объясняют его настоящее. «Может быть, читатель, — говорит он, — я ошибаюсь; но, узнав такую родословную моего “героя”, мне кажется, я лучше понимаю его с некоторых очень характерных его сторон. Он всегда был самостоятелен и независим в своем образе мысли и жизни, как природный, так сказать, джентльмен, как дай Бог быть самому чистокровному русскому дворянину». Сделаем маленькую

остановку: нам необходимо отметить, что последние слова в устах многих других почти ничего бы не значили, но в устах Бухарева, и притом как предсмертная исповедь жизни, они имеют вес огромный и выражают с внутренней стороны то первое и неотразимо помнящееся впечатление исключительного благородства, которое знает всякий, сколько-нибудь взглядевший в личность Бухарева. «Но вместе с этим, — продолжает свое самопризнание Бухарев, — у него с детства замечалось и какое-то странное, родственное забитости крепостного состояния малодушие, по которому, например, он иногда молчанием подтвердит или одобрит по видимости чье-либо такое слово или дело, которое ему в душе решительно противно и с которым собственное его слово или дело всегда идет вразрез; а если выразит несогласие, то как-то беспокойно, с усилием, как будто он чего или кого боится. Особенно замечалось это у него в молодые годы, с самого первоначального детства, когда он был баловнем в семействе и любимцем за свои дарования и успехи школьных начальников; в поздние годы он успел достаточно побороть в себе это странное свойство, бывшее у него словно в крови. Он сам чувствовал подчас какое-то кровное родство с мужиками и бабами, которым, случалось, и передавал свои самые заветные думы, как родным; и они слушали и понимали его, как родные родного, хотя он и не подделывался их образу речи. Но он так же живо принимал к сердцу и интересы или честь духовенства и дворянства, как будто оба эти сословия были ему своими, родными».

И наконец, на почве этих наблюдений, как всегда у Бухарева, общий вывод, поднимающий от земных событий к вечному их смыслу, их месту в провидческих судьбах Божиих: «Удивительное Божие создание Человек. “Свет истинный, сказано, просвещает всякого человека, приходящего в мир”. Даже и то, что относится только еще к предварительному приготовлению прихода того или другого человека в мир, озарено вышним светом; и, по крайней мере, мерцания этого света обозначаются потом и могут быть выслежены в самом этом человеке...»

2. Семья. Различные по своему сословному происхождению и по общественному строению родовой ткани, родители А. М. Бухарева были глубоко различны и своими характерами. По словам Анны Сергеевны, «отец Александра Матвеевича был человек благочестивый, кроткий и до крайности миролюбивый. Благодаря его миролюбию на его долю выпало такое редкое счастье, что все его любили, — и прихожане, и причт, и, словом, все, кто ни знал его. Это была душа простая, ясная и детски-наивно верующая в добро. В начальстве предполагал он всегда одни толь-

ко благие намерения; к людям науки, и в особенности духовной, относился с почти благоговейным уважением; вообще уважал он многих — и в своей семье, среди своих, о большинстве людей отзывался всегда с уважением. И обращения был он со всеми уважительного — и с высшими, и с равными, и с низшими, которым подавал милостыню. А милостыню он любил подавать, и подавал ее щедро — разумеется, сравнительно с скудными его средствами. Любил он читать, насколько это было возможно в его положении; имел склонность размышлять и рассуждать — и всегда в самом благостном настроении мыслей. Любил он рассуждать об Евангелии, прочитанном им в тот день в церкви. Причетник их села с умилением иногда говорил: «Елейный человек — Матвей Лукич». И сам Александр Матвеевич характеризует своего отца как «человека кроткого, добродушного, любящего читать и рассуждать».

Отличительною его чертою была еще чистота помыслов и нравов, стремительное целомудрие, тоже столь свойственное впоследствии и его сыну. Необыкновенно кроткий человек во всем другом, Матвей Лукич выходил из себя, когда слышал от крестьян непристойности, а молодых парней в таких случаях просто таскал за волосы. Его приводил в отчаяние и слезы разврат молодежи, и потому он особенно одобрял ранние браки; он не знал как нарадоваться на молодую парочку новобрачных, всегда говорил им о их счастье и о дарованной им от Бога великой благодати, указывал на их счастье другим молодым людям, медлившим жениться; вступивших в брак сажал всегда на первое место, величая, по местному обычаю, «князем» и «княгинею», — словом, не знал, как ублажить. Руководясь этими своими воззрениями, он преждевременно сдал и свое место, чтоб поскорей пристроить в Федоровском последнюю свою неустроенную дочь Анну. Эта черта отцовского понимания жизни была впоследствии усвоена Александром Матвеевичем; он всегда сочувствовал браку, даже в продолжение всего монашеского поприща. Но вернемся к Матвею Лукичу.

«В основе его характера было то самое начало, — говорит Анна Сергеевна, — которое имело такое широкое развитие у самого Александра Матвеевича, — это стремление к общему и невозможность скорчить себя в узкой, своекорыстный или даже семейный эгоизм. Это был человек *благословения*; он на все смотрел с благословением; везде приносил с собою благословение. Ничего не любил нарушающего мир, раздражающего страсти; и свое начало прилагал ко всему, даже к мелочам, в том маленьком мире, в котором его судьба привела вращаться. Например, у них

была грибная сторона и они делали запасы грибов на целый год. Вот и разгорались по этому случаю страсти в том маленьком мире, и следили все друг за другом, и спешил всякий пойти в лес прежде другого; зато и подвергался этот первый ненавистным взглядам других остальных. Матвей Лукич, несмотря на то что был большой охотник и мастер собирать грибы, всегда всех переждал и, от души порадовавшись большой добыче возвратившихся, отправлялся уже последним за грибами. Когда ему со смехом говорили: “Куда вы, отец диакон, ведь уж грибы все собраны”, — он отвечал со своей тихой улыбкой: “Мои все-таки меня дожидаются”.

Он чрезвычайно любил труд, и не было почти мастерства, которому бы он не научился, насколько это было ему возможно. Всякое дело он делал тихо, неспешно, и всякое дело у него спорилось. Чтобы не возбуждать зависти, он и за сенокос и за другое хозяйственное дело принимался позднее других и все-таки кончал ранее их и не избегал иногда зависти: “Да ты, диакон, — чародей”, — говорили ему священники; а мужики иногда говорили: “Видимое дело, отец диакон, что благословение Божие над всяким твоим трудом”, удивительным чутьем они умели разгадать его главную черту и определить ее. Они и теперь, когда говорят о нем, называют его благословенным человеком».

«Я до сих пор не знаю, — пишет Анна Сергеевна, — почему он был диаконом, а не священником. Да и Александр Матвеевич хорошенько не знал, потому что отец никогда не поднимал этого вопроса, оставаясь всегда доволен долей, какую судил ему Бог. Он был, бесспорно, умнее и образованнее священников своего села — очень богатого села Федоровского. Александр Матвеевич рассказывал, как однажды Филарет, тогда... впоследствии митрополит Московский, ревизовал их церковь. Филарет был в ту пору своей жизни особенно строг, и все подчиненные его трепетали. Священники села Федоровского совсем растерялись при ревизии, и ни один из них не мог перевести по требованию Филарета греческой надписи на одном образе; Филарет обратился тогда к диакону, и тот сейчас перевел. Также ни один из священников ничего не мог сказать о достопримечательных предметах старины, находящихся в храме, и опять пришлось Филарету обратиться с вопросом к диакону, который и в этом случае вполне удовлетворил его. Так что под конец он не обращал на священников никакого внимания и ходил по церкви, ласково разговаривая с диаконом, который тихо и спокойно отвечал на все его вопросы. Это была особенность Матвея Лукича: он всегда держал себя с достоинством и всегда, везде и перед всеми был

одинаков — всегда тих и спокоен. “Кажется, — говорил Александр Матвеевич, — если бы не только Филарет, но сам царь посетил нашу церковь, — батюшка и тогда не мог бы быть инаковым — такой уж был человек”».

Матвей Лукич заметно выделялся и своим умом, и своим характером из окружающей среды. Его выделял из всего причта, любил говорить с ним и часто приглашал к себе и местный помещик Римский-Корсаков. Из-за этой близости поднималось много зависти и ненависти против Матвея Лукича не только со стороны священников, но и благочинных. Все они на него дулись и косились, но только лишь до первой надобности в нем: как только открывалась надобность написать деловую бумагу или свести счета — не за кого было взяться, кроме отца диакона. «Это бывало очень забавно, — говорил Александр Матвеевич Анне Сергеевне, — приедет отец благочинный, соберется весь причт — и усадит батюшку писать что-нибудь, а сами так его и шпигуют, так и шпигуют, и все, главное, за то, что “в милость к помещикам втерся”; а он отмалчивается — сидит себе да пописывает. Вдруг войдет лакей Корсакова и говорит: “Отец диакон, барин вас просит к себе чай кушать”. Батюшка скажет: “Скажи, что я прошу извинить меня — мне не время; здесь теперь отец благочинный, и у нас спешная работа”. — “Что ты, что ты, диакон; как это можно, — закричат они, — иди скорей к нему, а то он на нас, пожалуйста, обидится; да ты, пожалуйста, — говорили они вслед ему, — пожалуйста, ничего ему не говори, что мы тебе говорили в сердцах-то”». И он никогда ничего не говорил, — он даже старался не извлекать никаких материальных выгод из этого расположения к нему Корсакова, чтобы не возбуждать еще больше зависти, но и то не всегда успевал избежать ее.

В этом мирном характере явно отмечается преобладание духовного разума, согретого тихим чувством, но совершенно не чувствуется стремительной силы, напора, кипучести, вообще всего того, что коренится в могучем темпераменте, в глубинах первичной воли. Если говорить в порядке психологическом, то в отце А. М. Бухарева надо подчеркнуть преобладание начала личного над стихийным; в порядке же метафизическом это есть развитая ипостась при сравнительно бедной усии. Как раз противоположною была жена его Марфа. Она была «духа горячего, проявлявшего свою горячность, разумеется, в делах домашних, в заботах житейских». Это была натура страстная и, по-видимому, властная. В мягкой, бестемпераментной натуре Матвея Лукича добро светило изнутри, как бы просвечивало его; при этом складе неизбежна склонность к имманентному пониманию нор-

мы, когда она является сознанию не как закон, а как благодать, даром дающееся и разливающееся во всех помышлениях духовной личности. Напротив, в стихийно-волевой, мятущейся первоначальным хаосом натуре Марфы Бухаревой не было и не могло быть света изнутри. Добро вовне существа ее светило, и к нему надо было подходить усилием, силою восхищая Царствие Небесное; такому сознанию норма предстояла как заповедь, как закон, как долг. Это была усия, стремящаяся к подчинению себя закону Блага и в то же время мятущаяся против него. Коротче говоря, мать А. М. Бухарева была типичною женщиною, как отец его был типичным мужчиною. Их крайне выраженная полярная противоположность была тем самым наиболее крепким, какой только можно придумать, условием сопряженности, супружественности. Метафизически и биологически брак Бухаревых был чрезвычайно удачным. Но если, по вещему слову Гераклита, «война — царь всего»¹⁵, то воистину и в данном случае метафизически-биологическая прочная спаянность Бухаревых в плоскости бытовой проявлялась в войне, непрерывном ряде стычек. На слух биографа Александра Матвеевича, когда музыка жизни исполнена вся целиком, диссонансы семьи Бухаревых разрешаются гармонично и без них личность Бухарева-сына была бы бедна и не стройна. Но неудивительно и то, что, когда разрешение семейных диссонансов родительского дома еще не прозвучало пред их слушателем, малым годами, но чувствительным и восприимчивым и, главное, понятливым не по возрасту мальчиком, они немало причинили ему страданий и, как увидим, уже с детства что-то в нем надорвали. Впрочем, речь идет здесь вовсе не о внешне-необыкновенных происшествиях, а о мелочах семейного быта, которые, однако, будучи мелкими сами по себе, в существенном определили выросшего среди них ребенка.

«Дарит крепчайшее звено
Сцепленье косвенных событий»¹⁶.

Этой биографической истиною да не упускает исследователь личности, ибо именно «сцепленье косвенных событий», мелкие незаметности повседневного быта часто воспринимаются, особенно в полусознательном возрасте, с силою несравнимо большею, нежели землетрясения и ураганы окружающей жизни, и оказываются как бы микроскопическими зародышами кристаллов, которым предстоит по своему именно подобию выкристаллизовывать все душевное содержание. «Горячность матери проявлялась главным образом в отношении к мужу, слишком, по ее мнению, оплошливому в житейских делах». И по-своему она была права, по-

тому что Бухаревы действительно бедствовали, и матери нелегко было видеть лишения детей. Но к этому мы еще вернемся.

Александр Матвеевич в своем характере соединил сильные стороны как отца, так и матери. Указанные выше «родительские черты можно было разглядеть и в грунте характера моего “героя”, — делает о себе признание Александр Матвеевич, — но они сложились здесь так, что горячность легла у него по преимуществу во внутренние глубины его, а совне <так!> он был всегда почти тих и скромен, до какой-то робости. Примечательно еще, что сколько ни был он непрактичен в делах житейских, но он никогда не был равнодушным к внешнежизненным потребностям, нуждам и нестройностям». Нет никакого сомнения, что миролюбивость, кротость, ласковость, всеобщая благожелательность, умение уважать стремление, всюду отыскивать скрытые семена добра, «останки первоначального света», и многие другие черты Александр Матвеевич получил от отца; как увидим впоследствии, самое мировоззрение Александра Матвеевича было не чем иным, как прорвавшимся постепенно сквозь чуждое ему мертвящее мировоззрение школы и среды и постепенно проявившееся до полной осознанности мировоззрение Матвея Лукича: внутренний перелом в жизни Александра Матвеевича и открытие им своего живого понимания жизни были не более, в существе дела, как «припоминание», как возрождение усвоенного мальчиком еще в раннем детстве от горячо любимого отца и потом заросшего и побежденного жизнепонимания среды, которая имела к нему доступ, которая коренилась в его сознании чрез наследственность материнскую. Ибо, в самом деле, что же представляет из себя жизнь Бухарева, как не победу жизнеощущения благодатного над жизнеощущением законническим, но не вялое соглашение между тем и другим, несмазанность того и другого, а действительно торжествующую, всепобедную радость о благодати, разрушившей преграду закона. А эта окончательность победы возможной была не иначе как вследствие крепкого самоопределения законничества в душе юного Александра Матвеевича и вследствие, с другой стороны, стихийно-страстного напора, привязанности к жизни, которая воздымала его душу на борьбу с законом. Иначе говоря, А. М. Бухарев смог прийти к своему отцу с ясным умом и чистым сердцем потому, и только потому, что он был сыном своей матери. И вместе с ним самим и Анною Сергеевною мы убеждены, что отцовские и материнские черты передались ему не только чрез первоначальное воспитание, но и в самом рождении. «Что не без влияния наследственности образовалось у Александра Матвеевича самое его мировоз-

зрение, — пишет Анна Сергеевна, — в этом убеждает меня все то, что я знаю об его старшей сестре — Екатерине Матвеевне; некоторые мысли, у отца бывшие, так сказать, в зачаточном состоянии, выросли у нее в определенные понятия, и впоследствии она легко и свободно их выражала на своем своеобразном языке, так что Александр Матвеевич, когда был уже студентом Академии, искренно и без всякой натяжки считал ее много умнее себя, потому что она, не будучи, кроме грамоты, ничему ученой, не имевши случая упражнять своего ума, выражала иногда мысли, которые давали толчок работе его собственной мысли. Ей всецело передал отец свой духовный облик, — передавши ей и свой покойный характер. Александр Матвеевич говорил, что до мелочей походила она на отца: и делала все так же тихо, как он, и все у нее спорилось, как у него же. И та же была благостность у него...» Александр Матвеевич рассказывал о случаях ее необыкновенной кротости и прощения ею причинивших ей зло. От своей матери Александр Матвеевич унаследовал горячность и страстность ее натуры, но эта наследственная черта сложилась у него так, что легла в самую глубь его характера. «Александр Матвеевич сам признавал, — сообщает Анна Сергеевна, — что в характере его много страстности, да и не был он вообще проповедником бесстрастия. К нему тоже вполне применим некрасовский стих, относящийся к Белинскому:

Наивная и страстная душа,
В ком помыслы прекрасные кипели¹⁷.

Александр Матвеевич вспыхивал, кипел и волновался, но это не было у него чем-то скоропреходящим, — мог он от того же кипеть и волноваться и много времени спустя; никогда не повышал он голоса, никогда не унижался до желания обидеть и нанести удар самолюбию человека. Сам способный сильно чувствовать, всегда щадил он чувства других. Нечего и говорить про то, что не был он злопамятным, что не мог он питать злого чувства ни против кого; но чтобы забывать... то едва ли он что забывал... Тонкая, одухотворенная организация есть дар — неразлучный со страданием; всякий фальшивый звук, отзываясь болезненно в сердце, причиняет страдание, которое не забывается. Натура его была горячая и непосредственная, одна из тех, для которых жизнь является часто драмою, в каком бы тесном кругу ни заключалась она; глубина и сила их чувства приводит часто в движение духовные силы людей, их окружающих, давая раскрываться чувствам и побуждениям, составляющим коренное содержание души того или другого человека... Приходят

иногда в движение и злые инстинкты, и, как слепые стихии, несут они часто беду и горе в их личную жизнь. Против опасности, какие могут встречаться таким натурам, у Александра Матвеевича был сильный оплот. Это твердо выдерживаемое им правило — враждовать против самых начал лжи и зла, а не против людей. Быть может, индивидуальность его выразилась в жизни иначе, если б не тот идеал, которому подчинилось все его существо».

Итак, мать дала Александру Матвеевичу силу, а отец — направление к ее раскрытию. Мать дала крепкий темперамент, а отец — смысл жизни. Мать дала женское начало, ярко выраженное, а отец — мужское, тоже в чистоте. И притом материнское начало легло в глубь характера, сделавшись существом Бухарева, его усиею, из которой образуется личность, а отцовское начало сделалось духовною формою характера, ипостасью этой усии, светом разума, просеивающим полноту, полновесное богатство сил и напряжений первичной тьмы и доброго стихийного хаоса в характере. Если в гармонической личности вообще начала мужское и женское должны сочетаться, и притом именно так, что мужское объемлет, сдерживает и направляет творческую мощь женского, то оба эти условия действительно были присущи Александру Матвеевичу в силу удачности его рождения. И его жизнепонимание прежде всего и глубже всего определяется, конечно, этою полярно сопряженною двойственностью его личности, а двойственность самая возводится к наследственности его рождения.

Первое детство. Но и тут опять наталкиваемся мы на жизненное противоречие. Жизнь дала Бухареву наибольший свой дар — рождение при добрых онтологических ауспичиях¹⁸; но как бы в отместку или ради справедливости она встретила младенца, получившего так много, отменно сурово, почти враждебно: для избранной природы путь жизненного подвига начинается уже во чреве матери. «В первую половину ее беременности отец Александра Матвеевича неизвестно от каких причин совсем было оглох и служил в церкви только догадками и соображением, ничего не слышал из пения и чтения. Если б так продолжилось, то не мог бы он удержать за собою дьяконского места. Беременная мать не могла не снестаться тоскою ввиду возможности потерять все средства к существованию для своей семьи. В половине беременности его отец стал слышать, но сама она с ужасными страданиями потеряла свой первый глаз. Случилось это так, что, выгоняя из сенец свою корову, она ударила ее лучиной, от которой отскочила небольшая спица — и прямо в зрачок правого

глаза. Обратились к деревенской лекарке (поблизости не было ни доктора, ни фельдшера), и та стала лечить глаз какою-то ядовитой примочкою, какою обыкновенно лечила руку или ногу от занозы, и кончилось тем, что беременная женщина с страшными страданиями совсем уже потеряла глаз. Таким несчастным обстоятельствам Александр Матвеевич и приписывает свою физическую болезненность, усиленную еще недолеченной желтухою, случившейся с ним на десятом году от рождения». Так рассказывает о бедствиях еще не родившегося Бухарева Анна Сергеевна. Подобный же рассказ имеется и в автобиографии Бухарева. «Надо было выносить чуть не адские страдания от такой медицины, — рассказывает он о знахарском лечении своей матери. — И уже недели через две, когда боль сделалась совсем невыносимою, нашли страдавшие от такого горя доктора в своем уездном городке; но и докторское мнение ограничилось только осмотром больной и каким-то лекарством, выданным ей из домашней аптеки доктора. Чревоносимый ею плод остался жив и при таких страшных ее страданиях. Но я именно этими описанными сейчас обстоятельствами объясняю то, что мой “герой”, по собственному его выражению, даже не запомнит, когда он дышал свободно и легко или вполне здорово. Такая физическая его болезненность не могла не действовать и на душевные его движения, в которых и замечались то нетерпеливость, почти желчная, то вялая унылость». И даже указывая, что пятьдесят лет тому назад не были еще распространены медицинские пособия, Бухарев добавляет: «Иначе, может быть, сложилась бы вся жизнь и судьба моего “героя”, если бы это (т. е. распространение медицинских пособий) было и лет за пятьдесят. Но, видно, так нужно было для такого именно устройства его судьбы и жизни, какая совершилась, а не для другого».

Кроме этих физических тягот, детство Бухарева угнеталось также и бедностью семьи. Он был третьим ребенком, родившимся после двух старших его сестер; за ним шли еще двое: близкая к нему по возрасту сестра и брат, значительно младший его, он родился, когда Александру было восемь лет. Хозяйственная жизнь давалась семье нелегко, хотя она могла быть легче, если бы отец был цепким и не пренебрегал бы внешним благосостоянием. Но зато именно отец был солнышком, светившим в семье и гревшим всех домашних.

Погруженный в свои мысли и размышления о духовной жизни, он любил делиться своими мыслями и умел действовать даже на тех, кто мало способен понимать богословскую нить его бесед. В особенности же он имел обыкновение рассуждать с свои-

ми детьми и даже с теми, которые едва еще вышли из младенческого возраста. Тут он словно забывал про их возраст и часто говорил с ними о вещах, которые должны были бы быть выше их понимания, но, как это часто бывает, именно высшее понимание или кажущееся таковым огрубевшему разуму взрослого, особенно жадно впитывается душою ребенка и, возбуждая мысль и чувство, врезывается в душу, как никогда впоследствии никакие обширные наставления. Александр Матвеевич и сестра его, Екатерина Матвеевна, запоминали многое, что слышали они от отца в почти что младенческом возрасте, и, по собственному его признанию, многие слова отца, пережитые с трепетом и почти болезненною бережностью, сделались впоследствии важнейшими запевами богословской системы. Александр Матвеевич почти с самого младенчества любил отца особенно; это была исключительная привязанность в его жизни, не было для него выше наслаждения в детские годы, как слушать беседу с ним или с кем другим его отца. Особенный простор этим разговорам был в лесу, когда отец и сын Бухаревы вырывались из несколько взбудораженной атмосферы дома. Под предлогом собирания грибов отец часто брал мальчика с собою в лес и тут среди лесного безмолвия рассказывал ему что-нибудь из Священного Писания — и всего чаще о Христе. Мальчик слушал и запоминал настолько крепко, что кое-что из бывшего тогда записал пред своею смертью. «Однажды, — рассказывает он, а это было так рано в его детстве, что он сам почти ничего не помнит более раннего, — он, во время прогулки с ним отца, обратился к последнему с таким вопросом, — “Должно быть, Бог беден, очень беден?” — “С чего это ты взял?” — спросил озадаченный отец. — “Да как же, — рассуждал мальчик, чуть еще не младенец, — вот Бог так любит бедных, так любит, чтобы и мы им помогали, не отказывали в милостыни. Видно, Он Сам беден; потому так и заступает за бедных”. Отец, разумеется, растолковал мальчику, что наш Бог богат (эти слова мой «герой» и в зрелые годы припоминал как буквально точные слова отца его), всем обладает, да и все от Него, но что Он такой уж милостивый, такой добрый наш Отец, что берет к сердцу наши нужды и бедность, как будто Он Сам нуждающийся, и помощь бедным принимает так, как бы она Ему Самому оказывалась. Тут уж недалеко было отцу объяснить своему милому и любящему его мальчику, что Бог наш, по Своей любви к нам, бедным, грешным людям, Сам видимо приходил в наш мир, Сам сделался человеком, был сначала тоже мальчиком маленьким, и наши беды, особенно эту главную и коренную нашу беду — провинности наши пред Ним, взял действительно на Себя,

как будто и действительно это были собственные Его беды и провинности; это похоже-де на то, как если бы, например, ты из окна увидел, что кто-нибудь несет бремя совсем не по силам и потому, собственно, не несет, а только падает с этим бременем, а ты, положим, мог бы легко поднять и снести эту тяжесть, и вот ты бы сам вышел к этому бедняку на улицу и взял бы на свои плечи тяжелое его бремя, так что оно уж бы тебя самого давило своею тяжестью, как и <в>правду твое бремя... Понимаешь, вот так-то, и потому-то Бог любит бедных, нуждающихся, обремененных людей».

«Так еще в детскую душу моего “героя”, — заключает свой рассказ Бухарев, — по причине раннего раскрытия в ней умственной восприимчивости, всевались семена — если еще не разумения, то проразумения глубоко разумной простоты тайны нашего искупления, хотя и неисследимой по своей высоте и глубине, по широте и протяжению своего раскрытия». Но в дальнейшем мы увидим, что это замечание Бухарева не только правильно, но и слишком нерасчлененно оценивает рассказываемый им случай, вероятно типический случай целого ряда подобных же. Нужно очень подчеркнуть хронологическое первенство из запомнившегося Бухаревым о своем детстве. Кто бывал в горах, тот трепетно примечал, какими сияющими розами увенчиваются снежные вершины ранним утром, когда в долинах и горных ущельях лежат еще туманы и воздух растворен синевой тающей ночи. Так при восхождении солнца сознания ярким и таинственным светом озаряется сперва самое разительное событие, а за ним — еще два, три, наиболее выступившие из общей слитности младенческой жизни. Они-то, эти первые, озаренные еще только возникающим сознанием, еще разрозненные и малочисленные случаи жизни, запоминаются навсегда и не могут быть забыты: ведь если самосознание есть прежде всего связность памятования о себе, то эти первые вехи памяти намечают самую линию самосознания, и, теряя их, мы должны были бы потерять самих себя. Да, в этих «случаях» открывается нам впервые над-эмпирическая природа нашей личности; хотя и эмпирические, эти факты жизни оказываются точками приложения мистического опыта, в которых мистическая жизнь нашей личности впервые осознала себя как таковую, и потому они, может быть, самые повседневные, может быть, самые заурядные и серые в разумении других или в другие времена, в той своей конкретной единственности являются прорывами повседневного, откровением Небесной Истины. Словом, они сделались для личности символами высшего постижения, и какими бы маленькими и ничтож-

ными ни расценивались эти таинственные шорохи и складки ежедневной жизни, сознание в них обрело себя, и снова, и снова будет возвращаться к трепетным воспоминаниям об этих откровениях рая своей жизни, снова и снова будет питаться от их бесконечной полноты, как бы навеяв на эти первичные выходы свои в мир эмпирии и выкристаллизовывая весь дальнейший жизненный опыт около них и в духе их, если угодно, около себя и в духе себя, ибо потому-то обычное среди бесконечно многого обычного могло стать символом или первичною интуициею данной личности, что в нем, этом обычном, она «припомнила» себя. И несомненно, что в вышеприведенном рассказе Бухарева мы имеем пред собою такое метафизическое припоминание Бухарева, первичную интуицию его дальнейшей мысли.

Чувство тягости, бедности, ущербности земной юдоли, собственно-человеческой юдоли и тягостности человеческой культуры, особенно остро доходящее до сознания в тишине и безмолвности природы; нравственный закон как заповедь, в которой нуждается Бог, как обязанность и откровение о богатстве, о полноте, о безущербности бытия Божия; Богонисхождение и искупление как дар благодати, как отчая любовь, идущая к чадам для облегчения их, даже в их винах против самой любви — разве мы не видим тут слитыми в почку, склубленными в один простой символ все основные темы бухаревской мысли в зрелом возрасте, и разве мы не вправе сказать, что все сочинения его — не более как попытки с разных сторон и в разных разрезах расчленить этот разговор с отцом, лепкою мысли выявляя ту, все же оставшуюся недоявленной, жизненную полноту и мистическую пространственность лесной прогулки за грибами, когда впервые ему открылось, с каким внутренним содержанием пришел он на подвиг жизни.

Свое чувство к отцу Александр Матвеевич пронес через всю жизнь. «К памяти отца, — отмечает Анна Сергеевна, — Александр Матвеевич до конца своей жизни относился с благоговейным уважением и глубочайшею нежностью». Мы уже заметили, что его внутренний перелом был внутренним усвоением или, точнее, открытием себе отца чрез средостение, данное матерью. И дальше, по мере того как крепла его личность, все глубже осознавалось им отцовское начало. Когда же в преддверии смерти иной мир уже стал более реальным, нежели этот, и когда обычно отвергается духовное зрение и зрятя ушедшие из этой жизни и силы иного мира, Бухарев стал возвращаться к годам своего младенчества, к тем раннейшим случаям своей жизни, когда открылась ему духовность: так пред утопающими проходит, го-

ворят, их жизнь в обратном порядке, и уходят из жизни, заново переживая уже пережитое, через тот самый выход, которым когда-то вошли в жизнь. Чувственный опыт, описав петлю, смыкается в себе и в конце своем находит свое начало. «Среди другого вспоминал Александр Матвеевич перед кончиной многое из своего детства, но только не вслух, а про себя. Один раз, после некоторого раздумья он сказал: “Боже мой, как все мне вспоминается — вся жизнь как на ладони”. — “Я не расспрашивала, — замечает по поводу этого своего сообщения Анна Сергеевна, — боясь его утомить”. За несколько часов до смерти вспоминал Александр Матвеевич об отце, и вспоминал, каким трогательно-глубоким голосом певал он иногда духовный кант “Не напрасно Мариины слезы проливаются” и какой умиленной нежностью к отцу наполнялась при этом его детская душа».

Вглядываясь в мировоззрение Бухарева, нетрудно подметить, что у него весьма сильно идея отцовства преобладает над идеей материнства и что чувство отношений сыновно-отцовских ему гораздо понятней и ближе, нежели чувство к матери. Тут могло бы возникнуть поспешное объяснение вообще непониманием Бухарева и до известной степени непризнанием им начала женского в сравнении с началом мужским, но это объяснение было бы чрезвычайно опрометчиво: никто, как Бухарев, не настаивал столько на ценности начала женского и не разъяснял метафизического призвания женщин; никто, как он, не отстаивал хотя бы с приблизительно равным упором и словом, и пером, и делом онтологическую ценность брака. Да и все его мировоззрение — защита женственной плоти пред стремящимся поработить ее себе мужественным духом — разве не есть в глубочайшей своей сущности религиозно-философское осознание женского начала во всех средах действительности? И тем не менее нет в системе его мысли достаточно выразительного ударения на слове «мать». Это слово совсем отсутствует у другого русского мыслителя, в некоторых отношениях весьма напоминающего Бухарева: у Н. Ф. Федорова. Там это немаловажное обстоятельство объясняется биографически — из неправильного строения самой семьи Федорова и, так сказать, ничтожности униженной матери пред возвеличенным отцом (Н. Ф. Федоров был незаконным сыном князя Гагарина). Тут, в случае Бухарева, не было рокового факта незаконности рождения и даже, напротив, семья Бухаревых отличалась исключительной чистотою. Но тем не менее будущий мыслитель не видел матери в матери или видел далеко не с тою неотразимою силою, с какою видел в отце отца. Это происходило преимущественно от горячности духа Марфы Бухаревой, «про-

являвшейся в делах житейских и семейных. Случались в семействе не очень редко маленькие бури, поднимаемые разгоряченной женою против житейских недосмотров, оплошностей или недочетов мужа, — рассказывает Бухарев. — Маленький их сын и во время и после разгара этих бурь, разумеется, сам и осуждал сердцем и в мысли свою любящую мать, которая горячилась ради детей же на несостоятельную экономию (т. е. хозяйство) их отца. Надо сказать, что мой “герой” с самого, можно сказать, младенчества особенно любил своего отца; мать сама рассказывала, что много раз, когда, будучи еще грудным ребенком, он слишком расплачется от болезни или от чего другого, она должна была носить его в осенние ночи в овин к отцу, где он сушил для молотбы рожь или овес, и на руках у отца разблажившийся ребенок скоро утихал, начинал весело смотреть своими глазенками и спокойно засыпал. Кроме того, слишком рано начавшему размышлять и читать мальчику нетрудно было вооружаться в своей душе против матери, не щадившей каких-нибудь житейских опущений или ошибок горячо любимого им отца, — буквою строгой морали, внушающею “жене бояться своего мужа”. Так произошло, что в мальчике подорвалось или очень ослабилось нравственное доверие и самое уважение к любящей матери. Это ничем не вознаградимое лишение — особенно в обстоятельствах моего “героя”. Это была ничем не выкупаемая беда. Последующие, уже зрелые его годы, когда он вел много сердечно-сокрушительных бесед об этом со своею, уже старушкой, матерью, никогда не перестававшей любить его всею горячностью материнского своего сердца, она тоскливо повторяла: “Если бы я это знала, если бы я это ведала... но я ведь и в помышление свое не брала и не могла взять ничего этого”. Видно — комментирует Бухарев — она чуяла своею любовью, что она нашлась бы помочь своему горю, если бы только своевременно могла судить о нем».

Она была очень умна от природы и впоследствии сама поняла, сколько ее любимцу, — а Александр Матвеевич был всегда именно любимцем матери, — сколько ее любимцу пришлось пережить душевной муки по милости ее характера, сколько страданий, оставивших на всю жизнь неизгладимый след и неисцельную рану в его сердце. И, поняв, мать его впоследствии много изменилась — материнская любовь ее перевоспитала, ее характер смягчился, стала она на многое смотреть глазами своего сына, которого она, заметно, не только горячо любила, но и чрезвычайно уважала. Любила она читать его сочинения и любила, чтобы он читал ей вслух написанное им, когда она приезжала к нему

погостить. Отца уже давно не было в живых. Но жизнь Александра Матвеевича тоже уже была почти прожита, и самый страдальческий ее переход уже начинался. Одно только «тонкое и нежное чутье и влияние любящей матери могло бы отвратить или остановить нравственную опасность, подступившую незаметно для всех к ее любимцу», — говорит о своем будущем Бухарев. Что понимает он под «нравственной опасностью» — мы увидим вскоре, а сейчас нам важно отметить, что эта опасность существенно проистекала из горячестрастного темперамента Александра Матвеевича, унаследованного вместе с общею талантливостью от матери. Этот-то темперамент, в связи с общим нравственным складом семьи Бухаревых, сделался в мальчике, а потом в юноше страстью к нравственности; увлекся, как увлекается вообще страстное начало тем или другим направлением человеческой жизни, в данном случае — нравственностью. Когда просыпается в человеке безмерность и хаос не знающего внутри себя граней желания возгорается жгучим огнем, тогда возникает и угроза опасности, таящейся во всякой страсти как таковой; предмет страсти, содержание страстного хотения при этом мало значат. Можно увлечься деньгами, чувственностью, властью, знанием, нравственностью, умерщвлением плоти, богослужением или уединенною молитвою, и достоинство предмета страсти не только не устраняет самой страсти, но, напротив, даже ее усиливает; ведь чем достойнее предмет страсти, тем менее причин остановиться в рьяности увлечения и каждый новый шаг заводит в более беспроектное ослепление. Состояние прелести духовной и заключается в полном предании себя страсти к предметам наивысшего порядка, а далее к ним незаметно присоединяются предметы и низшего достоинства, но как связанные с первоначальным высшим и потому под его же общим именем. А. М. Бухарев не пришел к прелести духовной, вовремя уловив сердцем притаившуюся опасность на своем пути, но опасность эта действительно стояла пред ним. Нарастание ее, а затем ломка при освобождении от ложного по существу, но в общей экономии жизни А. М. Бухарева глубоко необходимого, страстного увлечения Бухарева, была сутью внутреннего процесса в личности Бухарева; понять ее — это значит войти в самый узел жизнеописания его. Нравственность как страсть есть законничество: жизненным подвигом Бухарева было преодоление в себе, а чрез то — и, в духе времени, законничества как наиболее опасной из страстей: тогда человек, освобожденный от коры закона, открывался сердцем навстречу Сущей Истине.

Почвою для развития той опасности, о которой говорит Бухарев, была его талантливость, преимущественно выражавшаяся в

пытливой подвижности его мысли. Он сам отмечает те «факты, в которых впервые обозначилось движение мысли, делающей запросы или выводы, пытливой до дерзости». Эти факты раннего детства сами по себе, конечно, ничтожны, но уже то обстоятельство, что они запомнились Бухареву, показывает, какое внутреннее потрясение связано было у него с ними. И замечательно то, что уже в этих ранних воспоминаниях, как и в вышеприведенном разговоре о бедности Бога, проявляются основные запросы его ума в зрелом возрасте. Вглядываясь внимательно в подобные случаи у Бухарева, как и у других значительных людей, всякий раз снова бываешь поражен новым удивлением, что рассматриваемое лицо за целую жизнь, в сущности, ничего не приобрело нового и в зрелости оказывается тем же, чем было в младенчестве. К тому времени, как сложилось сознание, внутреннее содержание уже замкнуто твердо очерченным кругом; так и Бухареву со времени раннего его младенчества предстояло лишь открыть в себе самого себя и томление его было томлением по себе. Но вот что именно рассказывает Александр Матвеевич о себе-«малютке»: «Как-то в конце месяца духовный причт, и значит также и отец его, пошли в церковь не для Богослужения, а для счета и проверки церковных сумм. Мальчик тоже не отстал от своего отца; в церкви, и именно в алтаре, посмотрев, но не заинтересовавшись, как считают деньги, он почел за лучшее хорошенько посмотреть на просторе, без народа, что есть особенно любопытного в иконостасе и других принадлежностях церковных. Внимание его остановилось, особенно, на резном или вырезанном изображении “Христа в темнице”: тут у Христа, видимо, такая голова, как у людей, руки такие же; Он так же сидит, только согбенный, подобный нам, — стулик или скамейку, на которой Он сидит, можно ощупать, так же как и все Его тело. Малютку вдруг занял, живо занял вопрос, такие ли у Господа ноги, как и у нас. Надо дознать, ощупать. Но гнев Божий поразит? А между тем так легко и просто ощупать. Загоревшаяся в мальчишке пытливость не удержалась от искушения. Он зажмурился и, подойдя к вырезанному изображению, с трепетом не только души, но и тела, но с упругою и стойкою мыслью начал осязать ступни, колена в изображении, поднимая для этого на Нем самую одежду. В боязливой и торопливой беспорядочности своего дела и движений задел он лампадку пред изображением, она упала с большим шумом, раздавшимся по церкви во всей обширной ее пустоте, масло разлилось по Христовой одежде... Весь причт, все до одного, выбежали из алтаря, и вот пред ними, на месте и почти в действии преступления, растерявшийся маль-

чуган. Тут и без всяких слов и выговоров был слишком понятный и памятный урок для моего “героя” — не быть пытливым до дерзости и потому до глупости и грубости».

В этом маленьком случае, как в зеркале вогнутом, отражается весь склад Александра Матвеевича, и каждый штрих запомнившегося им есть представитель длинных рядов из событий его позднейшей жизни. Разве он не был всегда младенцем сравнительно с церковными дельцами, за которыми он увязался, имея в виду совсем не то, что они? И разве с острой пытливостью не старался проникнуть он в тайну Христовой личности, в то время как старшие его собратия считали в алтаре законно собранные деньги? И разве не было единственным вопросом его пытливости отношение во Христе Его Божества и Его Человечества? Разве не боязнь, как бы Христос современного богословия, «аскоченовщины», по выражению Бухарева, не оказался ущербным человеком, неполным человеком, воистину человеком с головою и руками, но без ног, коими стоит Он на земле, разве не это опасение заставило Бухарева внимательнейше взглядеться как в Самого Богочеловека чрез посредство Слова Божия о Нем, так и в современность, и богословскую, и не богословскую? Разве не пытливость Фомы сознательно утверждал как свой путь Бухарев, и разве не осязал он церковный образ Христов с трепетом не только души, но и тела, но с упругою и стойкою мыслью, и разве не дерзнул он для этого поднимать край священной церковной одежды? И, убедившись со всею силою опытной проверки, что Христос Церкви есть воистину полный Человек, в Котором находит свой прообраз и оправдание всякая человеческая жизнедеятельность, разве не стал он убежденным борцом за правду Христова образа, сохраненного Церковью, против попыток исказить его или урезать? Но эта проверка подлинности Христова образа во имя веры во соцелостную полноту Христа, бывшая необходимой и послужившая к торжеству Церкви, разве не послужила поводом, чтобы случилось то самое, что символически предуказывалось случаем детства Бухарева: хозяйственно рассуждая, Бухаревым была нарушена чинность церковного уклада, а духовно говоря — был возлит на этот самый обиход елей, знаменующий благодать Святого Духа. И, наконец, виновник этого и благодатного, и соблазнительного события пред блюстителями церковного хозяйства, забывшими о таинственном значении алтаря, не оказался маленьким мальчиком, смущенным своим положением, но внутренне укрепленным тем опытом, который дано было ему произвести?

А. М. Бухарев относился с раннейшего своего детства к тем избранникам мысли, в которых она непрестанно переливается, всегда мысля о самих вещах, каждый раз с новой свежестью вглядываясь в жизнь, но никогда не довольствуясь безжизненным повторением готовых, отлившихся формул, своих ли или чужих — безразлично. В нем всегда чувствовалось биение мысли, и всегда, как румянец жизни, сквозила в нем особая живость духа, одинаково характерная, шла ли речь об отвлеченных догматах богословия или о мелочах будничной жизни. Эта-то живость, эта текущая в его организме жизнь духа и была на всем протяжении его биографии тем очарованием, которым привлекал он к себе сердца встретившихся с ним на жизненном пути. Уже в раннем детстве он, по собственному его признанию, «был любимцем и баловнем и своих родителей, и трех сестер своих, из которых две были его старше, а третья моложе, и даже сторонних людей, имевших какое-либо близкое отношение к этой семье». Бухарев задумывался о причинах этого «особенного влечения к нему». «Сколько мне известно, — пытается дать он свое объяснение, — мой “герой” с самого детства располагал и влек к себе людей немножко своими бойкими дарованиями по учению, более — своею открытою добродушною общительностью с другими, более же всего, кажется, тем, что у него сквозь всегдашнюю его скромность и даже боязливость обыкновенно просвечивала внутренняя живость, какой-то огонек, всегда теплившийся в его душе. Помнится, однажды, еще в отроческом кругу товарищей, когда среди веселого их говора и шума мой “герой” тихо стоял в уголку, один из них вдруг обратил на него общее живое, веселое внимание. “Смотрите, смотрите, — указывал он на него другим, — как почти каждую минуту вспыхивают у него глаза; вот, вот — ведь это живой огонь”. Не все так прямо и ясно замечали этот внутренний его огонек, но все его чуяли; и все, естественно, так сказать, жались к этому душевному огоньку, ведь нравственная наша атмосфера везде довольно сыровата — рады и маленькой живой искре. По этому-то свойству моего “героя” у него с отроческих до последних его лет во всяком его положении и обстоятельствах не скудели задушевные, интимные друзья, друзья не до черного лишь дня; родители, сестры были, еще в детстве его — точно задушевные его друзья. Сам отец нередко рассуждал с своим любимым мальчиком, как с другом; и это делалось как будто и не по снисхождению, нарочно или намеренно спускающемуся до детского уровня, — по крайней мере, не по одной такой снисходительности, а порой и по какому-то уважающему расположению к отроку, как к ровне. Мальчик же

был удивительно понятлив; читать всякие книги славянской и гражданской печати он выучился, как будто вовсе не учась. Толковать с отцом или слушать, как он рассуждает с умными людьми, — это было наслаждение для странного мальчугана, предпочитаемое им всякой ребяческой игре. Открытое лицо, всегда готовая улыбка, умные детские ответы на вопросы, общежительная откровенность без навязчивости — это были также не отталкивающие, а привлекающие черты».

Этот крохотный мальчик, не по летам малого роста, читал обыкновенно в церкви вместо псаломщика, и читал внятно, с живым смыслом. Прихожане заглядывались на чтеца. Но еще больше привлекал он к себе внимание, когда в лесу, во время грибных хождений, случайно разговорится со встретившимся крестьянином «и так иногда, сам того не ведая, разогреет его душу, что тот так и заслушается. “Есть в тебе Божия искра” — сказал один из таких лесных слушателей мальчику, расставаясь наконец с ним. А то случалось иногда деревенской бабе, зашедшей к отцу его в зимовку с грудным ребенком, заговориться с мальчиком, как Христос любил малых детей, как Он Сам был мальчиком: баба как-то выпрямлялась, черты ее облагораживались, и маленький проповедник с боязливым уважением смотрел на нее, как она при выходе из дома глядит и молится на Св. иконы».

Но в этом хорошем таились зародыши не то что плохого, но крайне опасного и впоследствии причинившего много мучений Александру Матвеевичу. Мальчик был не только благодетель, но и чрезмерно благодетель, притом же — с сознательностью. Он не только не делал плохого, но даже и вполне заслуженные похвалы себе встречал с внутренним неудовольствием, «не надмевался и не тщеславился общию любовью и каким-то подобострастием к нему окружающих; он не любил и, кажется, по собственному его признанию, искренно огорчался, когда его слишком хвалили не только сторонние, но и сам отец». В мальчике развилось скороспелое, нравственно непосильное детскому возрасту, «необычайное благоразумие, сознательно боящееся похвал себе». Эта нравственная гиперестезия¹⁹ не могла не вызвать неправильного развития способностей: все естественное, естественно свойственное возрасту, детские шалости, даже самые невинные, детская беззаботность, при рассматривании их в этот нравственный микроскоп, при этой преувеличенности моральной строгости, стали расцениваться как недопустимые и даже преступные. Мальчик воспитал в себе преувеличенное чувство ответственности, а похвалы ему внушали и растили убеждение, что его исключи-

тельность обязывает. И вот с этим постоянным чувством чрезмерной ответственности, с этим сознанием обязанности он ощущал в себе резвость, свойственную ему не только по возрасту, но и индивидуально.

Сила его впечатлительности, выразившаяся в чувстве ответственности, столкнулась с той же самой силой, но требовавшей себе иного выражения в виде свободной игры жизненных сил, в виде резвости и шалости. И то, что само по себе — не только не предосудительно, но вполне естественно в мальчишке его возраста и что в известной мере не могло им не сделаться, конечно, делалось, но делалось «без детской прямодушной или наивной открытости», а, напротив, «за углом, с какой-то фарисейской скрытностью; мой “герой”, изволите видеть, сознавал в подобных шалостях уже чрезвычайное преступление, которое, как слишком нетерпимое, естественно, и прикрывал тщательно от чужих глаз». «Зло было, собственно, в этой фарисейской закваске, могущей испортить все прекрасные задатки молодой души, в прокравшемся к мальчику направлении казаться более нравственным и скромным, нежели сколько это было на самом деле, по собственному его сознанию. Нужды нет, что такое направление обозначилось в виде, несравненно меньшем самого горчишного зерна. И примечаете ли? Раз как допустил до себя мальчик эту закваску — порождение противохристианского, фарисейского духа, тотчас оказалось в нем и действие яда общих похвал, до этого возбуждавших в нем искреннее отвращение. Маскируя перед другими свои детские шалости, даже невинные, он уже чрез это отстаивал свой пьедесталик, на который его ставила общая любовь и ласка».

Этот пьедесталик, проектированный в целое мировоззрение, породил впоследствии то законничество, которому противостояла благодать прежде век закланного Агнца. Иначе говоря, ценности человеческой, ценности, человеком из себя производимой и потому человека как такового в его самозаконной замкнутости утверждающей, противостояла ценность Божия, ценность в Боге предсуществующая, даром даваемая и требующая лишь чистого ока для своего созерцания. Моралистическому самоутверждению человека, хотя бы оно и прикрывалось церковностью и христианским подвигом, противостояла сущая Мудрость Неба, утверждающая не себя только одну, но в себе — и правду человека. И тогда, после мучительной борьбы, видя, что монашеский подвиг оказывается у него под общественным давлением благовидным прикрытием именно для самодовлеющей правды морализма или, как сам Бухарев называл его, «фарисейского духа», он решился

разорвать все земные пути, своею благовидностью застившие подлинный свет Божественной Мудрости, и лицом к лицу посмотреть в глаза Вечной Истине. Своим расстрижением и жеманностью архимандрит Феодор удачно сделал тот скачок из мира обоготворенных условностей в царство свободы и подлинно существующего, который совсем неудачно, закабалая себя в еще более обожествленные и еще большие условности, пытался сделать почти полвека спустя Лев Толстой. Но до этого выхода еще далеко; теперь же следует отметить то промыслительное значение, которое усматривает сам Бухарев в закрывшемся искривлении его души.

«Впоследствии моему “герою”, — сообщает он, — пришлось много страдать и горько плакать от развившихся плодов этого раннего несчастного посева на детскую еще его душу, — посева, поддержанного и оплодотворенного, разумеется, последующими влияниями и обстоятельствами. Зато ему же дано потом первому сказать и живое слово против равноиудейского и фарисейского духа, усилившегося и в христианстве, даже в православном. Видно, нужно было сначала развиться во всех своих крайностях Савлову фарисейскому духу, чтобы по сознанию его лжи и злотворности тем энергичнее и обширнее мог воздействовать и раскрыться благодатный властительно-свободный дух Павлов»²⁰.

1919 г. IX. 27.

ГЛАВА II

Между ранним детством Александра Матвеевича, которое нам известно довольно подробно, и годами академической жизни, известными нам с вполне удовлетворительной полнотой, лежит полоса его жизни полуосвещенная, а в своем начале и вовсе не освещенная: ни сам Александр Матвеевич, ни записавшие за ним его воспоминания, ни, наконец, товарищи и друзья его отрочества, а отчасти и юности, не говорят или почти не говорят о событиях этого времени. Отчасти это объясняется некоторою противоположностью первой половины жизни Бухарева и второй. Исполненная красочности необыкновенных встреч и отношений и, главное, драматичная до такой степени, что уже в простом пересказе могла бы сойти за мастерски задуманную драму, вторая половина жизни Александра Матвеевича заслонила в сознании биографов первую половину, когда борющиеся силы были еще чисто внутренними и драматическое действие протекало еще

только во внутреннем борении, не выступая наружу ничем внешнезначительным и понятным в своем драматизме с тою же наглядностью, с какою понятна всякому, и не посвященному в глубины богословской мысли, история быстрых его успехов, идейных столкновений с сильными мира сего, расстрижения, брака, бедственной и прекрасной последующей судьбы и лучезарной кончины. Если оставить неучтенными несколько отдельных ярких точек жизни его за время до поступления его в Академию, то о ходе ее во многом мы скорее должны догадываться и косвенно умозаключать из дальнейшего, нежели знаем фактически. Может быть, письма и воспоминания, относящиеся к XIX веку, которые последнее время стали появляться в печати, в дальнейшем дадут нечто и для биографии Бухарева; пока же приходится ограничиться весьма немногим. Однако это признание сделать и себе самому биографу Бухарева весьма нелегко, потому что именно в этот-то промежуток времени и сложились почти всецело его дух и его воззрения, так что к первому курсу Академии внутренняя реакция тех элементов, которые вошли в сплав его жизнепонимания, уже почти завершилась и Бухарев является, несмотря на свои 21 год, законченным мыслителем, все существенные точки зрения которого уже определились. Но мало того, к началу академических годов Бухарев уже успел запастись тем, может быть, и не очень переполненным содержательно, но, во всяком случае, широким и, главное, глубоко-сознательно продуманным кругом научных знаний, который чувствуется уже в первых его сочинениях, и в первых — даже более, чем в последующих, и увеличение которого, может быть и бывшее, однако трудно было бы установить в его дальнейшем умственном развитии. Иными словами, к Академии Бухарев уже готов, но как он оказался готовым, это нам почти неизвестно. Попробуем же собрать то, что доступно.

Мы ничего не можем сказать, где получил Александр Матвеевич самые начатки обучения, и даже — учился ли он в школе. Феноменальные его способности, давшие ему очень раннюю, даже чрезмерно раннюю зрелость, заставляют думать, что эта неизвестность не случайна: как это нередко случается с детьми большой и притом рано развившейся талантливости, весьма вероятно, что Бухарев ни у кого, собственно, не учился, а что на лету схватывал от старших грамотность и те начатки знаний, которым обыкновенно требуется нарочитое обучение. Это тем более вероятно, что он был при развитом и культурном выше среднего уровня отце. Но так или иначе, мы видим его после его болезни — «желтухи», по деревенскому диагнозу, оставшейся недо-

леченной, — мы видим Бухарева учеником Тверского Духовного училища. Годом поступления надо считать 1833-й. Как и чему учился там Бухарев — фактически нам неизвестно; но судя по тому, что он окончил первым, и притом имея своими товарищами весьма способных *Евграфа Ивановича Ловягина*, будущего профессора Петербургской Духовной академии, и *Василия Федоровича Владиславлева*, впоследствии небезызвестного духовного писателя, можно быть уверенным, что Бухарев учился очень хорошо и вполне усвоил все то, что можно и должно было усвоить воспитаннику Духовного училища. Ректором училища был кафедральный протоиерей Иван Яковлевич Ловягин. Судя по блестящим успехам его учеников на конкурсном экзамене при поступлении в Тверскую Духовную семинарию, успехам, вызвавшим изумление и даже некоторое недоверие в ректоре Семинарии и преподавателях, Тверское Духовное училище было поставлено превосходно. Но нужно сказать, что и подбор учеников, по крайней мере в занимающем нас выпуске 1837 года, был блестящим: при обыкновенных, хотя бы и отличных способностях их не могло бы случиться, что Бухарев и Владиславлев заняли первые места не только при большом конкурсе семинарских экзаменов, но и в Академии, куда снимались самые сливки многочисленных семинарий, они опять не лишились своего первенства, хотя и не принадлежали к числу типичных «первых учеников», занятых формальным выполнением программ и баллами. Нужно было иметь очень большую учебную емкость и силу переваривать учебный материал, чтобы в те филаретовские времена точных знаний, сообразительности и формальных требований, имея свою мысль и свою сложную внутреннюю жизнь, все же бежать впереди многих состязающихся, уже увенчанных в провинции первыми призами.

С обоими названными выше товарищами Бухарева связывала известная близость. Кроме того, из мальчиков, близких к нему в то время, следует упомянуть Владимира Ивановича Ловягина, старшего брата Евграфа²¹; оба они были сыновьями ректора, и, может быть, в связи с этим в Евграфе проявлялась развившаяся впоследствии некоторая сухость и малодоступность. Владимир же был проще и открытее своего брата, так что, хотя и старший классом, он был более близок к сыну сельского диакона — Бухареву. Наши источники проносят нас с закрытыми окнами мимо учения в Духовном училище, но зато к 1837 году, именно к моменту поступления в Семинарию, внезапно открывается темная ставня и перед глазами с мельчайшими бытовыми и психологическими подробностями открывается веселая, вся залитая бод-

ростью и солнцем картинка приемного экзамена. Картинка эта, важная для биографии Бухарева, настолько хороша и сама по себе, что не хотелось бы слишком сокращать воспоминание очевидца.

На экзамены 1837 года сначала не являлись ученики Тверского Духовного училища; это объяснялось тем, что они были публично проэкзаменованы при окончании училища в присутствии не только ректора Семинарии архимандрита Афанасия, но и Тверского архиепископа Григория. Но наконец, по распоряжению ректора Семинарии, потребовали и Тверских. До этого времени некоторые из учеников других училищ уже приобрели себе авторитет. Так, из Старицких учеников отличался первый ученик Лев Рубцов, из Ржевских — Иван Филаретов. Рубцову было 18 лет от роду, и он смотрел уже довольно зрелым юношей. Как только явились на экзамены ученики Тверского училища, ректор вызвал, по обычаю своему, первых учеников: первые должны были конкурировать с первыми, затем вторые со вторыми и т. д. по успехам. С другими первыми учениками вышел и Тверской. Это был А. Бухарев, маленький, худенький, желтенький мальчик лет 15-ти. Рубцов посмотрел на него с презрительной улыбкой. О. ректор стал экзаменовать. Ответы Бухарева были лучше всех учеников. Что ни спросит о. ректор, Бухарев на все скоро и удовлетворительно ответит, и даже покажет неудовлетворительность ответов других учеников, с ним вызванных, в случае если кто из них поспешит ответить прежде него и ответит за поспешностью неудачно. И сам Рубцов должен был уступить первенство Бухареву. «О! Да ты отлично-хорошо отвечаешь! — сказал о. ректор. — А я думал, что вы не ходите на экзамен потому, что ничего не знаете. Молодец! Тебе не Бухарев фамилия, а Орлов, Соколов! Отлично!» Бухарев осмелился сказать ему, что Тверские явились на экзамен не готовившись; они думали, что их экзаменовать не станут. «Ладно, ладно, я посмотрю. Ну-ка, скажите мне еще». Он задает первым ученикам что-нибудь перевести или сказать локуцию²² какую. Бухарев опять лучше всех. «Превосходно», — кричит о. ректор, вошедший в пафос. О. ректор вызвал вторых учеников из всех училищ, и в числе их второго ученика Тверского училища. Это был Евграф Ловягин. Оказалось, что из вторых учеников Ловягин был лучше всех. Выслушавши ответы, о. ректор сказал: «Тверские отлично! Молодцы». Вызваны были третьи ученики всех училищ, и здесь Тверской третий ученик — Владиславлев не посрамил себя. Так прошел день. На следующий день еще экзамены. О. ректор явился суровым в класс. Вызвавши, по обычаю,

первых учеников, он, обратившись к Бухареву, сказал: «Вы меня обманули. Вчерась вам случайно удалось ответить; вот я вас проберу!» Впоследствии оказалось, что о. ректор это шутил только.

Начались экзамены. Тверские опять лучше всех, и особенно Бухарев. О. ректор не вытерпел. «Я нарочно сердитым пришел, чтобы испугать вас; а вы ничего не боитесь: отлично-хорошо! Спасибо! Постой, — сказал он Бухареву, — на вот тебе на пряники». О. ректор вынул пятирублевую синюю бумажку и дал ее Бухареву; Рубцову досадно было. Видя, что Бухарев побивает его на устных ответах, он говорит о. ректору: «Отец ректор! Позвольте нам написать что-нибудь на бумаге; дайте нам какое-нибудь предложение». — «Разве ты можешь писать?» — «Могу». Надобно сказать, что в Старицком училище учеников 4-го класса приучали писать периоды и хрии²³ по тогдашним риторикам, равно как и в Ржевском, тогда как в Тверском об них и не слышали. На этом-то и думал выиграть Рубцов. О. ректор дал какую-то тему. «Пишите, кто хочет и как умеете, и кто скорей напишет, читайте мне». Началась работа. Наморщились лбы; заскрипели перья. Прежде всех написал на заданную тему Рубцов. Он вышел на середину и прочитал написанное. «Очень хорошо! Весьма хорошо! Благодарю!» — сказал ему о. ректор. «Постой, на тебе!» Он дал Рубцову пятирублевую ассигнацию. Рубцов был в восторге. За Рубцовым вышел Филаретов и прочитал свое сочинение. Он был из Ржевских учеников; а там тоже преподавали правила риторики. «Хорошо! — сказал ректор, — очень хорошо; на и тебе». И тому дал пять рублей. Выходит Бухарев. Внимание всех обратилось на него. Он прочитал то, что написал. О. ректор вскочил с кресел. «Отлично-хорошо! Превосходно! Лучше всех, весьма благодарю! Поди ко мне! На тебе десять рублей! Отлично-хорошо! Лучше всех». Затем читали некоторые из первых учеников других училищ, а иные совсем и не выходили. После первых учеников читали вторые ученики, и из них Ловягин оказался лучше всех. Потом третьи — и опять Тверской был лучше всех других. Рубцов опять подходит к о. ректору и говорит: «Позвольте еще написать». «Изволь, пиши! Кто хочет, пишите все». Ректор дал тему. Опять наморщились лбы и заскрипели перья; и опять у Бухарева была задачка лучше всех. «Позвольте нам на дому подумать», — сказал Рубцов, не желая потерять первенство свое. Была суббота, когда производился экзамен, и час уже третий после полудня; так что уже дальше сидеть в классе о. ректор не хотел. «Изволь! Пишите!» Отец ректор дал тему: «Иудеи говорят, что Господа ученики украли: докажите, что Он воскрес».

К понедельнику задачи были готовы; лучше других оказалась задачка у Бухарева — так что о. ректор пригласил послушать ее всех наставников, — затем у Рубцова и некоторых других. Но нашлись и такие из учеников, которые по знакомству или по родству упростили семинаристов высшего отделения написать им задачу. Впрочем, скоро о. ректор открыл обман и виновные были наказаны. Наставники, слушавшие задачку Бухарева и других учеников училища, дивились тому, как можно, не учившись правилам риторики, писать складно и резонно, и выражали сомнение, что Бухарев и другие ученики списывали с других тетрадок и не сами делали свои задачки. О. ректор первоначально горячо отстаивал мальчиков; ему, видимо, не хотелось разочаровываться в их способностях, но потом поколебался; особенно когда один из наставников, Иван Григорьевич Рубцов, сильно и настоятельно уверял его, что нет никакой возможности в одни сутки, не учившись правилам составления сочинений, написать целый лист, как у Бухарева. «Я даю голову на отсечение, что они не сами писали», — говорил Рубцов. Бухарев и другие уверяли, что сами писали, но Рубцов был непреклонен. «Ведь вот поймали же вы, отец ректор, обманщика, которому богословы написали задачку. И тут обман и надувательство». — «Да мы готовы в классе при вас сейчас писать», — говорили Бухарев и другие ученики. «И слышать не хочу», — говорил Рубцов. Класс кончился. О. ректор, наставники и ученики разошлись по домам.

У Афанасия, видимо, на душе лежало сомнение, зароненное речами профессора Рубцова. Часов в семь вечера вдруг является на квартиру к Бухареву и к Владиславлеву вестовой от ректора с требованием, чтобы они принесли свои черновые тетради, на которых писали задачки, и сами тотчас явились к ректору. Очевидно, что влияние профессора Рубцова взяло верх над убеждением о. ректора. Замерло сердце у бедных мальчиков. Схвативши свои черновые тетради и собравшись наскоро, они отправились к о. ректору. В квартире у него собралось несколько наставников, в том числе и И. Г. Рубцов. Когда мальчики явились к о. ректору, он, увидевши их, сказал: «А! Подите сюда. Докажите вот этому Фоме неверному, что вы сами писали задачки». О. ректор указал на И. Г. Рубцова. «Да как хотите, о. ректор, — сказал Рубцов, — я ни за что не поверю, чтобы они сами писали. Покажите ваши черняки», — сказал он быстро Бухареву. Бухарев вообще писал не слишком хорошо, разборчиво, особенно когда спешил. Он иногда не дописывал окончания слов, не доканчивал целой мысли, если она очевидна по ходу речи. Иван Григо-

рьевич тотчас же это заметил и с торжеством, обращаясь к ректору, говорил: «Вот, вот, посмотрите, о. ректор, очевидно, что списано. Как был под рукой чужой черняк, так с него и списано». Бухарев до слез уверял, что он сам писал задачку, что недописки произошли от поспешности, что эти самые недописки могут всякого убедить в том, что я сам писал, — говорил Бухарев, а не другой кто, или не с чужого черняка списывал. Иначе недописанное слово неправильно могло быть написано; недописанная мысль нехорошо вязалась бы с другими мыслями. Рубцов слышать ничего не хотел. «Да помилуйте, о. ректор, я шесть лет учился в семинарии, четыре года в академии, пятнадцать лет профессором и священником, а велите мне написать к завтраму то, что тут написано, — воля ваша, я не могу; я отказываюсь. Это быть не может, чтобы они сами писали». Ректор молчал. Другие наставники пересматривали черняки, и кто соглашался с Иваном Григорьевичем, а кто поддерживал Бухарева и его товарища, поддерживал из сострадания к их невыразимо жалкому положению, к их испуганному виду и слезам. «Ну что ж вы ничего не говорите? — спросил Афанасий Бухарева и его товарища. — Чем же вы еще докажете, что вы сами писали?» — «Да позвольте, о. ректор, нам здесь при вас написать», — сказал Бухарев, обрадовавшись сам своей счастливой мысли. «Изволь, хорошо». — «А вот с этим я согласен, — сказал Иван Григорьевич. — Вот напишите при моих глазах так же, как это написано, ну тогда я поверю». Прочие наставники согласились на это. О. ректор дал предложение, или тему для задачки. «Да чтоб они не стакнулись, — говорил Иван Григорьевич, — вы дайте, о. ректор, разные предложения и посадите в разных комнатах». Иван Григорьевич то и дело подходил то к одному, то к другому, осматривая со всех сторон, не списывают ли они откуда, хотя списать решительно неоткуда было. Ректору с наставниками подали чаю. «Дай и им по чашке», — сказал он, указывая на мальчиков; но им было не до чаю. Через несколько времени Бухарев вышел к о. ректору, чтобы прочесть написанное. Внимание всех с жадностью обращено было на него. Он кончил чтение, о. ректор не вытерпел — он вскочил с дивана, подбежал к Бухареву, обнял и поцеловал его. «Друг ты мой, — сказал он ему, — выручил ты меня, утешил. Отлично-хорошо. Что, Иван Григорьевич?» — «Очень хорошо, прекрасно», — говорили другие наставники, подлаживаясь под тон ректора. Иван Григорьевич пожал плечами. «Позвольте, о. ректор, еще дать ему предложение. Не постигаю». — «Изволь, изволь, пиши, — говорил Афанасий, входя в свой пафос. — Пиши, молодец, пиши!» Бухареву дали другое

предложение. Он и на это написал скоро и хорошо и прочитал перед ректором и наставниками. И товарищ его Владиславлев тоже написал на данное ему предложение очень хорошо. Когда читали они задачи свои пред ректором, ректор не знал, как выразить свой восторг. «Молодцы! Прекрасно! Отлично-хорошо, — кричал он на всю комнату. — Пойдите, вот вам на пряники». Он вынул кошелек и дал еще денег Бухареву и его товарищу. Нельзя было смотреть на этих мальчиков без умиления. Точно они одержали победу знаменитую. Они готовы были плакать от радости; Иван Григорьевич их обнимал и целовал; прочие наставники ласкали всячески. «Чаю, чаю давай им, Илья». Это был любимый слугитель Афанасия. Когда Иван Григорьевич ласкал мальчиков, ректор говорил им: «Нет, вы, ребята, вот что скажите ему: за что ж вы на нас так нападали? Что мы вам сделали, что вы сочли нас плутами? За что вы нас так мучили? Да отца-то ректора чуть с толку не сбили?» Но ребятам было не до попреков: они не чувствовали земли под собою: чай не пили. Им поскорее хотелось выбежать на свежий воздух и подышать посвободнее. «Ступайте, братцы, домой, — сказал Иван Григорьевич, — отпустите их, о. ректор». — «Хорошо! Только пойдите: кто вас учил писать?» — спросил он у мальчиков. — «Нас никто не учил». — «Нет, кто у вас смотритель или ректор?» — «Иван Яковлевич Ловягин». — «А! Вы из Тверского училища. Идите же завтра к нему и скажите, что о. ректор Семинарии прислал вас поблагодарить его за то, что он поставил в Семинарию таких учеников. И покажите ему то, что вы здесь написали. Да смотрите ж, сходите, непременно сходите: я завтра спрошу его».

Духовная семинария. Таково было вступление Александра Матвеевича в Тверскую Духовную семинарию. Это было по своему времени обширное духовное заведение, содержавшее в год только что описанных событий 642 человека и приблизительно около того в течение всего пребывания в нем, т. е. до 1842 года, Бухарева. Но, несмотря на свою величину, оно выгодно отличалось своим порядком и постановкою как воспитания, так и преподавания, от многих учебных заведений того же типа. Отчасти это нужно отнести на счет доброго школьного предания Тверской семинарии; но при этом не следует забывать шестилетнего ректорства архимандрита Афанасия, педагогические приемы которого уже обрисовались пред нами в изображенном выше приемном экзамене. Архимандрит Афанасий был назначен ректором Тверской семинарии в апреле 1832 года, куда поступил он уже после бакалаврства в Петербургской Духовной академии и

большого педагогического опыта в качестве инспектора в Псковской семинарии и ректора Харьковского Коллегиума и Черниговской Духовной семинарии. За время с 1832 по 1837 год этот опытный и, главное, горячо преданный своему делу воспитатель успел чрезвычайно поднять весь строй жизни Тверской семинарии и пронизать ее тем живым духом, которого так недоставало в школах более поздних формаций. Всего год был при нем в семинарии Бухарев, потому что 30 марта 1838 года архимандрит Афанасий был назначен ректором Петербургской семинарии, а оттуда — епископом Томским, далее Иркутским и наконец архиепископом Казанским. Но этот год, несомненно, много дал Александру Матвеевичу, и не без причины. Бухарев в одном из своих писем отмечает, впрочем не упоминая имени ректора Афанасия, что «в низшем отделении семинарии у него определяется основное направление мысли». Мы не знаем, в какой мере осознал Бухарев, что именно получил он от этого своего наставника, но мы знаем, что то таинственное соприкосновение личностей, которое навеки устанавливает их внутреннюю связь, каково бы ни было внешнее жизненное отношение, произошло у них, и не только Бухарев полюбил Афанасия, своего наставника, и впоследствии не раз спрашивал в письмах о его здоровье, но и, в свой черед, с самого экзамена архимандрит Афанасий принял мальчика в свое сердце и хранил его там, несмотря на то что между ними впоследствии не было никакой прямой связи. Александр Матвеевич сообщает о многозначительной своей встрече с ним уже через девятнадцать лет, в Казани, когда сам он был подвергшимся гонению архимандритом, а Афанасий маститым иерархом вступил в управление Казанской архиепископией. Вместе со множеством казанского духовенства Бухарев, тогда архимандрит Феодор, вышел встречать нового Владыку; тот сразу заметил его среди других и, выделив, обратился с необыкновенным для начальника приветствием: «Здравствуйте, о Вы, которого я лобызал в своих сновидениях».

Но возвратимся к тому, что было девятнадцать лет назад, когда Афанасий был в цвете сил еще архимандритом, а Бухарев — учеником первого класса. Но, несмотря на разницу лет, оба кипели душою и в обоих чувствуется струя одного духа, более спокойная и менее сильная в ректоре, — более трепетная и более напряженная в воспитаннике. Точнее сказать, в воспитаннике еще только предназначалось то, что было созревшим и сложившимся в наставнике, как в личности его, так и в складе мысли и образе действия. Это общее может быть названо внутренним пониманием жизни, по которому у обоих был ко всему подход

живой, по существу дела и никогда не руководимый отвлеченными схемами. Эту линию внутреннего понимания жизни счастливо продолжает пред Бухаревым архимандрит Афанасий, из рук в руки принимая ее от Матвея Лукича, родного отца Бухарева, и затем передавая другим руководителям Бухарева в том же самом направлении. В этом развертывании пред Бухаревым начал жизненности целым рядом выдающихся людей, и притом в известном порядке, со все большею степенью сознательности и теоретической оправданности, нельзя не видеть руки Божией, возводящей его к предназначенному. Поэтому несколько охарактеризовать личность и деятельность архимандрита Афанасия представляется почти необходимым. Он звался в миру Андреем Ивановичем <Григорьевичем> Соколовым и был воспитанником Костромской семинарии, а затем Петербургской академии. Его успехи в школе и его быстрая карьера служат достаточным свидетельством его умственной одаренности. Но не сила ума как таковая, а цельность духовной личности характерна для него.

Ученики его, будем говорить по возможности их собственными словами, говорят о нем как о подлинном анахорете, человеке в высшей степени гуманном, все свое время посвящавшем на занятия в Семинарии и для Семинарии, прекрасном педагоге и на редкость бескорыстном наставнике, тратившем все свои средства на награды и пособия ученикам. Как раздавались эти награды, мы уже видели на примере, а насколько много было подобных наград, видно из того, что, получая жалованье за службу при Семинарии и доходы от первоклассного Колязина монастыря как настоятель его, ректор Афанасий часто не имел у себя ни копейки денег и должен был занимать иногда у своего служителя или у эконома Семинарии, причем нередко получал от них замечания за расточительность. Особенно, почти постоянно укорял его простодушный и любимый за прямоту его служитель: «Как это, отец ректор, Вам не стыдно просить денег у меня — служителя, который получает в месяц каких-нибудь два или три рубля, между тем как вы получаете в год тысячами? Своею расточительностью Вы, пожалуй, оставите себя без рубашки и без ряски». И ректор, бывало, на это не рассердится, а начнет просить еще усерднее, ублажая его и обещая дать проценты. «Ну! Уж в последний раз даю Вам, отец ректор», — скажет ему служитель и даст. Вот сценка, которую с переменной имен очень нетрудно было бы отнести не к архимандриту Афанасию, а к самому архимандриту Феодору.

Обязанности преподавателя догматического богословия ректор Афанасий исполнял свято и ненарушимо. Он не пропускал

ни одного урока и на свой урок приходил ранее других наставников. Он не только не тяготился классными занятиями, но жаждал их и никогда не чувствовал от них усталости. В классе, бывало, разговорится так, что совершенно как будто забывался, не замечал, что с ним самим и вокруг него делается, не слышал звонка и часто продерживал очень долго после него. Он овладевал вниманием учеников скоро и свободно и умел поддержать это внимание до конца класса. Речь его была живая беседа отца с детьми, поддерживаемая весьма частыми обращениями отца с вопросами к детям и заставлявшая их самих думать и говорить. Ко многим из учеников о. ректор обращался именно как нежный отец, называя их по имени. «Ну-ка ты, Алексей, скажи, как ты думаешь!» Но давая предмет для думы и для разговора, он в то же время всячески избегал споров схоластических, основанных на софистике. Крепкий, твердый, логический ум его любил истину до увлечения, но не любил хитростей и тонкостей софистических. Курс богословия 1838 года (едва ли слушал полностью его Бухарев, ибо богословие читалось в старшем классе, но, наверное, известное ему по рассказам и запискам) ректор Афанасий начал, например, с первого Послания Апостола Иоанна Богослова. Это был не комментарий на Послание и экзегетическое²⁴ толкование его, а душевная беседа на основании слов апостольских. В сущности, это импровизация, продолжавшаяся целую неделю: «Любовь и правда — высшая мудрость жизни; стремиться к ней, к этой мудрости — главное призвание человека на земле. Антихрист — это лжец, всякий, у кого верование идет в разлад с жизнью, исповедуемое языком отрицается делами; из антихристов самые страшные враги дела Христова — фарисеи». Беседовал он с такою искренностью и с таким увлечением, что нередко появлялись слезы на глазах; а в беседах о том, сколько зла и гибели всегда приносило христианству и приносит фарисейство, он доходил до пафоса, под влиянием которого некоторые из учеников тут же дали себе слово всю жизнь употребить на борьбу с фарисеями. В изображаемом преподавании сделайте рассмотрение предмета глубже, хотя и вполне сохраняя общий смысл и дух мысли, проведите линии более сильные, оживите все большим трепетанием — и тогда вместо имени Афанасия смело можете поставить имя Феодора, а вместо Тверской семинарии — Московскую или Казанскую Духовную академию. То, что рассказывается учениками архимандрита Афанасия об его уроках, и то, что читаем мы в воспоминаниях учеников архимандрита Феодора об его уроках, сходно, как два произведе-

ния одной художественной школы, вышедшей из одной мастерской, но разной степени совершенства. Из воспоминаний учеников о занятиях с ними ректора Афанасия явствует прекрасная постановка им всего дела преподавания, при которой достигалось действительное усвоение предмета в кипучем соревновании учеников, которое даже очень умел возбуждать отец ректор не только между отдельными учениками, но и между целыми отделениями классов. Он не выносил зубрения, но требовал понимания и свободного пользования усвоенным материалом, щедро награждая успевших и, несмотря на общую мягкость, сурово наказывая уличенных во лжи и обмане. Архимандрит Афанасий умел бывать и строгим. В воспоминаниях о нем рассказывается, например, о любопытном экзамене по еврейскому языку. Любитель и знаток еврейского языка, ректор, очевидно, узнал о другом к нему отношении со стороны учеников, а потому первыми его словами при входе в класс были: «Ну, все, кто не занимался еврейским языком, на колени!» И целая сотня учеников преклонила колени и выстояла битых четыре часа. Ректор не торопился с экзаменом, по часу и более толковал с каждым из занимавшихся, объясняя особенности еврейского языка и цитую особенно трудные для уразумения места.

Экзамен закончился резкой речью к коленопреклоненным на тему: «И в жизни будете только отлынивать от всякого дела, заботясь об одном, да ямы и пиёмы²⁵ и да собираем всякими способами деньги на то, в чем только и упражняются отцы ваши, как это видно из дел консистории». Он не боялся уронить свой начальнический авторитет близкими сношениями с учениками; напротив даже, посредством их он недосыгаемо возвышал его. Особенно же шутливый и веселый характер ректора выказывался во время так называемых рекреаций. Здесь он являлся вполне, как отец с детьми, позволял себе шутить с учениками и принимал участие в их играх. Ученики в это время могли резвиться, как хотели; впрочем, наблюдалось, чтобы резвость была благопристойная. Хор семинарских певчих почти неумолкаемо пел концерты или духовные гимны; светских же песен ни под каким предлогом не позволялось петь, хотя профессора и не раз упрашивали позволить. Часто ректору приходилось быть посредником между напраказавшими учениками и инспектором, грубым, жестким хохлом, и отводить инспекторскую грозу. Не оставлял учеников своею любовью ректор и при их кончине. Ни одного умершего в его время из учеников Семинарии он не оставлял, чтобы не совершить самому над ним погребального об-

ряда и не проводить до могилы; и все это старался сделать, сколько возможно, величественнее через проводы его всеми учениками Семинарии, произнесением проповеди и нескольких речей в церкви и при самой могиле. Совершать погребение никогда не мог он без слез. Таков был руководитель школы, в которую поступил Бухарев.

